

18+

Гран-при премии

*Рукопись  
года*

Екатерина РУ

**МЕРТВЫЕ  
ПИАНИСТЫ**

Виноваты звезды

Екатерина Ру

**Мертвые пианисты**

«Издательство АСТ»

2019

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)6

**Ру Е. А.**

Мертвые пианисты / Е. А. Ру — «Издательство АСТ»,  
2019 — (Виноваты звезды)

Страдающая аутизмом девочка Надя не находит своего места в жизни, пока не открывает для себя мир музыки. Оказавшись необычайно одаренной пианисткой, она не стремится к славе и пытается через музыку прежде всего уйти от болезненной реальности. Как некоторые люди с синдромом Аспергера, Надя стремится «упорядочить» в своей голове мир и мысленно составляет различного рода списки: например, список умерших пианистов своего родного города или список учеников несуществующего класса. Постепенно эти списки проникают в жизнь, таинственным образом переплетаясь и влияя на судьбу Нади и окружающих ее людей. Роман «Мертвые пианисты» об одиночестве «человека в себе». О его выдуманном мертвом мире, который оживает, смешиваясь с реальностью. О том, что все мы немного «люди в себе».

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)6

© Ру Е. А., 2019  
© Издательство АСТ, 2019

## Содержание

Пролог	5
Смотри на меня	6
Вещь не в себе	11
Перемены	16
Первое слово	22
На краю праздника	27
Кровавая Элиза	33
Спасти бабушку	37
Конец ознакомительного фрагмента.	39

# Екатерина Ру

## Мертвые пианисты

### Пролог

Надя выходит на сцену Королевского фестивального зала. Приближается к роялю. Надя слышит в тишине свои шаги и с ужасом понимает, что единственные звуки зала исходят от нее. И в ближайшие минуты все звуки тоже должна мастерить она сама. Своими руками. Надя смотрит на свои пальцы, замечает заусеницу на правом мизинце и тут вспоминает, что нужно посмотреть на зрителей. Улыбнуться им, поклониться. Так положено. Нужно всегда смотреть на людей. «Смотри на меня», – говорила ей мама двенадцать лет назад, поворачивала холодными пальцами за подбородок. А точнее – двенадцать лет, пять месяцев и три дня назад. Наде тогда было почти пять. Глубоко внутри ей и сейчас почти пять. Надя смотрит в притихший зал и постепенно замирает, словно скованная плавной, неспешной смертью. Зрители ждут от Нади Рахманинова. Или не Рахманинова? Тишина зала схлестнула Надины мысли. И тут возникает другой страх, более объемный, чем страх тишины и собственного тела. Всплывает разбухшим утопленником из глубины Нади на поверхность. Перед глазами все начинает рябить, терять четкие контуры. Наде кажется, что она стоит на ярко освещенной дачной кухне, а зрители сидят снаружи, в вечернем саду. За оконными стеклами все плавится, струится, утекает в назревающие сумерки. И только двадцать три зрителя на самом дальнем ряду видны очень хорошо. Они смотрят на Надю осуждающе, даже угрожающе. Особенно тот, что с краю, – с кудрявыми смоляными волосами и родинкой на щеке. «Убийца», – словно шепчет он, не открывая рта. И сидящие рядом с ним кивают, поджав губы. «Нет, я не убийца, – испуганно шепчет в ответ Надя внутри себя. – Я просто... Мне так сказали, сказали, что я должна поехать». «Нет, ты убийца», – не соглашается кудрявый. Виталий Щукин. А рядом с ним кто? Анна Козырева и Антон Ильинский. Да, они. Так странно, обычно Надя не видит их лиц четко. Обычно Надя выделяет их из темноты памяти и воображения исключительно по опознавательным признакам. Вроде густой короткой челки или родинки. А теперь черты их лиц проявились в полной мере, и они сидят перед Надей живее всех живых. И самый живой и самый грозный – Виталий Щукин. Медленно, на дрожащих ватных ногах она продолжает путь к роялю, а тьма перед глазами сгущается. Еще чуть-чуть, и Надя полностью провалится в черноту. Соскользнет в бездонные пропасти собственных глазниц. «Убийца, – все громче шепчет Виталий Щукин. – Бедные старики. Бедная моя Рита». Шепот расправляется в полнозвучный голос, и этот голос начинает наливаться криком. «Я не убийца. Я все могу исправить, – шепчет Надя в глубине себя. – Я все исправлю». Надина левая рука нащупывает клавиши, бесшумно по ним скользит. В животе стремительно раскручивается пустота, словно разъедая внутренности. «Я все исправлю», – повторяет Надя и, не убирая с клавиш левую руку, с силой захлопывает крышку рояля.

## Смотри на меня

– Смотри на меня, – говорит мама. Ледяными острыми пальцами берет Надю за подбородок. Поворачивает к себе. – Куда ты опять смотришь? Что там такого? Там ничего. Там шкаф, просто шкаф для белья!

Но Надя смотрит вовсе не на шкаф. Надя смотрит в глубь себя. Там, внутри, мягко, уютно и все знакомо. Вылезать оттуда не хочется. Совсем. Не хочется вытаскивать взгляд из привычного тепла наружу – в холодный и враждебный мир. Снаружи все непредсказуемо, все шатко. Лучше не рисковать.

– Я к тебе обращаюсь! Сюда смотри. Видишь, заяц на картинке? Повтори: «за-яц»!

Мама трясет перед Надиным лицом огромной книгой с болезненно яркими картинками. Не вылезая из глубины себя, Надя скользит глазами по открытой странице. Заяц серый, а вокруг него зеленая трава и розовые цветочные бутоны. При виде этих бутонов Надя вспоминает ветчинные рулетики, которые в Новый год лежали на столе. Вслед за рулетиками возникают розовые свиные ребрышки из мясной лавки напротив, и Надю начинает тошнить. Утренний йогурт кисло всплескивается в горле. Надя закрывает глаза. Очень хочется развидеть и зайца, и бутоны, и рулетики. Но на обратной стороне век по-прежнему сочно розовеют мясные цветы с белыми прожилками.

– Повторяй за мной. Заяц! Говори. За-яц, за-яц, за-яц, мать его!

Надя молчит. К ушам изнутри подбирается тяжелое жаркое гудение крови.

– Ты будешь повторять или нет, дрянь такая!

Мамин голос дребезжит, как сервант в гостиной, когда мимо дома проезжает трамвай. Видимо, мама сердится. Наде это очень не нравится, ей хочется провалиться еще глубже в себя, в собственное тело. А тело спрятать в какой-нибудь чехол. Хотя бы в тесный пропахший лавандой бельевой шкаф.

Книга с шумом падает на пол, и мама закрывает лицо руками.

– Боже мой, за что мне это мучение? Что я сделала не так? Почему ты у меня такая, ну почему? Я этого не заслужила, нет, не заслужила. Я просто хотела ребенка – милого, забавного, умненького ребенка. И вот что я получила в итоге?

Все мамины слова слипаются в жирный розовый фарш. Пытаясь справиться с тошнотой, Надя мысленно считает от пятидесяти до одного. Уже на двадцати семи становится легче.

А через час становится совсем легко, потому что приходит бабушка, и они с мамой идут на кухню пить чай и разговаривать. А это значит, что Надю в ближайшее время точно никто не будет допекать. Не будет ни зайцев, ни цветов, ни прикосновений острыми пальцами. Наде дана небольшая передышка. Можно расслабиться и уютно устроиться внутри себя.

Надя сидит в коридоре, прислонившись спиной к батарее. Вдыхает сосновый освежитель. Из кухни доносится звяканье чашек о блюдца. Мамин голос теперь звучит сухо и остро, словно мертвые листья шелестят на ветру.

– Ну и что мне прикажешь делать? Ребенку почти пять лет, ни слова не говорит, не смотрит ни на кого, не улыбается.

– Ты к врачу-то ее с того года хоть раз водила?

– Ой, а что эти врачи? Врачи, тоже мне. Только и говорят, что дочка у вас отсталая. Я это как бы и сама понимаю.

– Понимает она. А что ты понимала, когда с этим горе-скульптором связалась?

Из приоткрытой кухонной двери льется свет. Приоткрыв рот, Надя рассматривает узоры на обоях. То ли грозди ягод, то ли цветы – непонятно. Чуть подалее от кухни, в глубине

коридора, полутьма немного уплотняется, и в узорах можно разглядеть лицо старика. Много старческих лиц.

– Ой, мама, Вадик-то тут при чем?

– Да при том. Разве от такого мужика может родиться нормальный ребенок?

– Мама, хватит уже. Я не хочу опять этот бред слушать.

– Вот и хватит. Не жалуйся тогда.

Надя встает, идет в свою комнату. В теплый и кислый воздух. За окном воздух морозный, сладковатый, чуть колкий. Но Надину комнату редко проветривают. Еще за окном есть серый девятиэтажный дом, похожий на прошлогоднюю, полежавшую в сыром буфете вафлю. Почти такой же, как тот, в котором живет Надя с мамой и папой. В этом доме напротив разноцветными огоньками телевизоров мигают окна. С каждым получасом этих огоньков становится все больше. Наверное, то же самое происходит сейчас и с Надиным домом, но Надя не может этого увидеть.

Совсем скоро вечер, и комната вот-вот опрокинется в темноту, нырнет в черное. А пока в комнате полумрак, а на небе воспаленные полосы, солнечные ранки. Небо порезано. Надя прошлым летом упала с трехколесного велосипеда и тоже порезалась о битое стекло. Теплая ленточка крови долго сбегала вниз по руке. Надю тогда сильно ругали.

– Я больше не могу, я живу, как в аду, из-за этой маленькой дряни, – доносится из кухни мамин голос.

– Отдай ее мне. Я быстро из нее человека сделаю. Она у меня через неделю заговорит и улыбаться будет.

– Тебе? Не смейся. Занимайся лучше своими учениками. Человека она из нее сделает. Да ты не знаешь, о чем говоришь! Ты просто не представляешь.

На подоконнике уже пятый день лежит мертвая муха. Сухая, темно-серая, скрюченная – она напоминает Наде соседку с седьмого этажа. А внизу, под окном, проплывают все более наполненные трамваи – вытянутые красные рыбы с горящими глазами. Рыбы всегда молчат, Надя это знает. Надя тоже молчит.

– Чего это я не представляю? Тебя вот вырастила и с этой разберусь.

– А ты не сравнивай! И вообще это мой крест, мне его и нести.

– Тоже мне, святая мученица, страдальца.

– Это моя дочь, и я ее люблю, между прочим. И не позволю никому у меня ее отобрать!

Через пять минут мама уже в Надиной комнате и, заливаясь горячими слезами, обнимает Надю. От мамы пахнет сигаретами и очень сладкими цветочными духами.

– Доченька, ты у меня самая лучшая, самая прекрасная из всех на свете. Никому тебя не отдам.

Надя изо всех сил прижимает руки к телу. Туго сворачивается внутри себя, сжимается, словно пружина.

Неподвижным взглядом смотрит в окно, на густеющую городскую темноту, прошитую цветными огоньками. Надя ненавидит объятия.

– Все у тебя будет хорошо. И у меня тоже. Ты поняла? Поняла?

Мама отчаянно трясет Надино замершее тело.

К счастью, натиск рук, духов и слез длится недолго. Мама, вспомнив о начавшемся сериале, уходит из комнаты, и внутренняя Надина пружина вновь расправляется. В комнату наплывает тишина. Плотная, густая тишина, через которую никому не прорваться. Надя закрывает глаза и представляет, что сидит в брюхе огромного мертвого кита, выброшенного волнами на берег.

Это, конечно, правда – Надя редко смотрит на других. И никогда не улыбается. Но ведь и другие, думает она, часто поступают так же. Они с мамой постоянно выходят из квартиры:

в магазин, в поликлинику, в детский сад. (Хотя в детский сад уже нет: Надю оттуда исключили.) На улице, в автобусе, в трамвае всегда много людей. Особенно на улице вечером. Мимо Нади проплывают бесчисленные потоки лиц. Лица молодые, старые, бледные, темные, багрово-оспенные, блестящие от пота; простые и круглые, как яичница; по-лошадиному вытянутые; морщинисто-желтые, как печеные яблоки; уставшие и помятые, словно скомканные простыни. И все эти лица вечно погружены в мрачную неподвижность. Как будто медленно тонут в стоячей чернильной воде. Люди не смотрят друг на друга, они тоже смотрят в себя, как и Надя. Скользят бесшумно, с поджатыми губами, с пустыми замутненными взглядами, каждый в своем футляре. И почти никогда не улыбаются.

Еще Надю обвиняют в том, что за свои пять лет она никому не сказала ни слова. Мама без конца твердит, что нужно жить вонне, нужно реагировать словами на то, что с тобой происходит. Разговаривать с теми, кто тебя окружает. Но при этом сама мама так делает далеко не всегда. Иногда они с Надей встречаются на лестнице, в лифте или во дворе соседей. Например, старушку с седьмого этажа, похожую на мертвую муху. Или усатого собачника – кажется, Павла Сергеича, – который вечно сплевывает ржавую густую слюну. Или Аллу Владимировну с двухъярусной прической, жабьим ртом и бровями-ниточками. И мама никогда ничего им не говорит – хотя они ее окружают. И они в свою очередь ничего не говорят окружающим их Наде и маме. Просто отводят взгляд и молча проходят мимо. Надя и имена-то их знает случайно: однажды во дворе проводилось собрание жильцов, и женщина из ЖЭКа громко к ним обратилась. А вот старушки в тот день не было, и Надя так и не знает, как ее зовут.

После множества молчаливых встреч Надя подумала, что, видимо, все не настолько просто. Видимо, разговаривать с окружающими нужно лишь в том случае, когда они сами обращаются к тебе. Но потом стало ясно, что и это не всегда так. Однажды они с мамой шли в гости к какой-то маминой подруге. Надю обычно редко берут в гости, в основном оставляют у бабушки. Но в тот раз взяли, потому что «у бабки, видите ли, родительское собрание, четвертое за год». Недалеко от трамвайной остановки к ним обратилась девушка в лиловом пуховике.

– Подождите, тут вот папа... Пожалуйста, – сбивчиво бубнила она. И указывала мохнатой серой варежкой на пожилого мужчину, сидящего на скамейке. У мужчины были закрыты глаза и приоткрыт рот с длинными желтыми зубами. Над верхней губой алела свежая бусина крови.

Девушка в пуховике обращалась к Надиной маме и другим прохожим, но никто ей почему-то не отвечал.

В тот вечер у маминой подруги было семь человек. Они пили коньяк и громко смеялись.

– Ириш, да не трогай ты ее, – сказала мама, когда одна из подруг попыталась усадить Надю за общий стол. – Она не реагирует ни на что. Как от мороженая. Пусть сидит себе в своем уголке.

От подруги пахло кислым потом, спиртом и приторным ванильным кремом для лица. Она положила ладонь на Надино плечо:

– Детка, ну что ж ты? Такая напряженная, прямо каменная. Пойдем к нам, выпьем чайку с шоколадкой.

Надя не отвечала, и костлявые пальчики с облупившимся бордовым лаком отцепились.

– Вот видишь! – снова сказала мама. – Она будет молчать, хоть ты тресни. Я каждый день такую картину наблюдаю. Это мне кара за все мои грехи.

– Да какие грехи, Мариша, о чем ты?! И вообще, ты большая молодец, что не сломалась, что растишь такого ребенка.

– Уж это точно, – подхватил кто-то еще. – Вы с Вадиком настоящие герои. Не каждому дано столько терпения.

– Да ну бросьте вы, какие мы герои.

– Правда-правда. И давайте, кстати, выпьем за то, чтобы терпение и мужество никогда вас не покидало!

Надя сидела на полу рядом с комодом. Смотрела вверх – на перемотанный изолентой провод люстры. Вниз – на синие тапки хозяйки дома, на ее полные икры со вздутыми корнями вен. Но в основном смотрела внутрь себя. Внутри Нади был сидящий на скамейке мужчина и была девушка в лиловом пуховике. Такие же, как на остановке. Только их лица были немного размазаны памятью и дорисованы заново. Оба казались застывшими и очень печальными. Ничего не говорили, не двигались, словно вмерзли в зимнюю стеклянную тишину. Надя долго их разглядывала, почти весь вечер, и почему-то чувствовала, как за ребрами тяжело перекатывается скользкий холодный ком.

Никто из гостей, к счастью, больше не обращался к Наде, не пытался вытянуть ее из молчания наружу, к шумному и тошнотворно пестрому столу.

На самом деле Надя молчала не от отсутствия слов. Слова у Нади были, причем в большом количестве. Из некоторых даже выстраивались стихи:

В комнате страшно и пусто  
В трансцендентной лежать синеве.  
И только ломаются с хрустом  
Ступеньки в моей голове.

Это стихотворение сочинилось в детском саду, во время тихого часа. А точнее, после него. Всех детей разбудила нянечка Светлана Васильевна. Увела на полдник, а потом, видимо, на прогулку. А вот про Надю забыла, не заметила ее в дальнем левом углу. И Надя еще два часа лежала в непривычно пустой детсадовской спальне. Натянув колючее одеяло до подбородка, разглядывала ледяные синие стены, засаленные занавески, причудливую сетку трещин на потолке, похожую на карту рек.

Слово «трансцендентный» Надя однажды услышала по телевизору, когда мама переключала каналы и случайно наткнулась на «Культуру». Разумеется, Надя не знала, что оно обозначает. Не знала и почему именно ступеньки ломаются в голове, а не что-нибудь другое. Но ей казалось, что все очень слаженно, звучно, красиво. Стих и сам как будто разламывается с легким приятным хрустом, словно тоненькая ореховая вафля, а внутри отдает синим морозным небом, застывшим холодом, воскресной тоской.

Писать Надя не умела, поэтому все свои слова – сплетенные в стихи и нет – носила исключительно в голове. Они там жили собственной жизнью, росли, наливались смыслами, выстраивались в разные, все более сложные ряды. Им было хорошо в своем замкнутом мире, и доставать их оттуда не хотелось. Не хотелось выбираться из обволакивающего густого молчания – как порой не хочется в холодный день вылезать из теплой ванны. Молчание затягивало в глубь себя и там щедро рассыпалось спрятанными немymi словами.

– Хочешь йогурт, так и попроси. Скажи: йо-гурт, – говорит мама.

Бабушка ушла час назад, а папа вернулся с работы. Втроем они сидят на кухне. Вечер за окном давно запекся, набух чернотой. Густая вязкая темень полностью поглотила город по ту сторону. Не поглотила только мучительно яркий свет кухни: по окну растекается лишь он – вместе с тонущим в нем столом и тремя согнутыми телами. Кухня замкнулась сама в себе.

Папа уже доел и теперь молча смотрит в свой телефон. С мамой не разговаривает. У мамы в руках блестят нож и вилка, вгрызаются в розовато-серую сосисочную мякоть, в жухлые листья салата. Мама тоже молчит, поджав губу; искоса смотрит на Надю. А та смотрит в телевизор, на бородатого мужчину. Мужчина рассказывает о глобализации. Глобализация влияет на российский рынок труда. Телевизор словно плывет Наде навстречу в слепящем кухонном свете.

Папа чуть слышно усмехается.

– Что? Что тебя так веселит? – резко говорит мама.

– Ничего. Я вообще молчу.

– Вот и молчи дальше. Иди переписываться со своими шлюхами в другое место.

Мама поворачивается к Наде, не выпуская ножа и вилки из рук:

– Ну? Так и не будешь ничего жрать? Решила меня довести? Да пожалуйста, не жри ничего. Только если хочешь шоколадный йогурт, придется попросить.

Надя хочет йогурт, но не настолько, чтобы об этом сказать. Произнесенное слово слишком выпукло, слишком тяжело. Словно неподъемная крышка люка. Да и сам язык во рту кажется огромным, разваренным, неподъемным. И Надя просто отодвигает от себя тарелку с нетронутой ненавистой сосиской.

Папа на секунду поднимает на Надю глаза и, вновь усмехаясь, качает головой:

– Тоже мне, вещь в себе!

## Вещь не в себе

Иногда Наде бывает плохо, и она выходит из себя. Первый серьезный приступ случился четыре месяца назад в детском саду. Там все с самого начала не заладилось. Было очень громко, тесно, визгливо, пахло тушеной капустой и хлоркой, а на шкафу в коридоре сидел плюшевый львенок с вырванным правым глазом. Надя подолгу рассматривала этого львенка и представляла, что будет, если вырвать глаз самой себе. Возможно ли это вообще? В конце концов приходила нянечка, Светлана Васильевна, хватала Надю за плечо красными и липкими, как сардельки, пальцами и вела в комнату.

– Нечего тут на сквозняке стоять. А то заболеешь, и придет мамка твоя кричать, что мы тут детей замораживаем.

В комнате на ковре играли дети, вырывали друг у друга игрушки, стреляли из пластмассовых пистолетов. Пытаясь успокоиться, Надя наматывала круги. Иногда делала ровный круг, через всю комнату. Иногда ходила восьмеркой, переступая через разбросанные детали от «Лего». Похлопывала себя по щекам, трясла кистями рук, мысленно повторяла слова заставки из сериала «Холод страсти», который по вечерам смотрела мама. Имена и фамилии всех актеров, режиссера, звукорежиссера, оператора. Затем переходила на анонс воскресного ток-шоу «По следам недели» и правила интеллектуально-развлекательной викторины «Один ответ». Но полностью успокоиться никогда не получалось. Слишком много голосов и лиц на крошечное пространство. Все бесконечно двигалось, шумело, билось. Словно сердце, лишенное отдыха, работающее на износ. Хотелось выть, хотелось забраться в шкаф или хотя бы под стол, в самый дальний угол. Даже во время тихого часа никогда не было по-настоящему тихо: в сознание постоянно и неумолимо пробиралось жужжание ламп.

А однажды, наматывая по классу восьмерки, Надя наступила на руку рыжей девочке в полосатом красно-белом платье. Девочка закричала так пронзительно, что внутри Нади все как будто провалилось в пустоту, в обжигающе холодное безвоздушное пространство. Затем медленно начало всплывать, отдаваясь острой болью в каждой клетке тела.

Ужас от пережитого был настолько невыносим, что Надя никак не могла прийти в себя. Когда рыжая девочка в слезах побежала жаловаться воспитательнице на «немую», Надя упала на ковер и изо всех сил зажала уши. В комнате вдруг возникла тишина, но Надя не разжала пальцы. Еще около минуты она неподвижно лежала на ковре, глубоко провалившись в собственное тело, парализованное ужасом.

К Наде осторожно начали прикасаться чужие руки. Даже рыжая девочка, уже переставшая плакать, легонько тронула ее плечо. Но от прикосновений стало только хуже. Зажимающую в тиски боль можно было одолеть только другой болью. Заглушить, перебить, перекричать. Надя резко вскочила и бросилась к выходу из комнаты. Сунув пальцы в дверной проем, принялась отчаянно хлопать дверью. Насколько хватало сил. Впрочем, от двери ее тут же оттащили. Через несколько секунд Надя вновь оказалась на полу. Машинально пыталась проглотить воду из стакана, который ей совала воспитательница. Но вода упрямо не проходила в горло, лилась по подбородку, по синей футболке. Пальцы горели, а вокруг все растекалось, словно вода из стакана затопила всю комнату. Лампы размазывались по потолку, перепуганные детские лица сливались в одно, бесконечно тянущееся, мутное. Потом Надя все же проглотила воду и какие-то горькие капли, и очень скоро все внутри успокоилось. Ледяной ужас прошел, тело согрелось, начало обмякать. Тело казалось картофелиной, которую вынули из кипятка и теперь поливают маслом и разминают вилкой.

Второй приступ произошел неделю спустя, на прогулке в парке. Пока все остальные дети играли в какую-то непонятную игру с мячом, Надя разглядывала проезжающие мимо парка машины. Загадывала, каким будет день. Если шестнадцатая машина, которая проедет

мимо, будет белой или зеленой, то день будет спокойным. А если синей или красной, то обязательно случится что-то нехорошее. Что-то скользкое, вертлявое, бряцающее, как сине-красные бусины на браслете воспитательницы. Поначалу все шло хорошо. Друг за другом с шумом промчались три машины. Но четвертая остановилась прямо напротив парка, и Надя задумалась, надо ли ее считать. Скорее всего, нет, ведь она не проехала мимо. Но все же было не совсем ясно, где именно проходит граница, после которой машина считается проехавшей. Надя заново начала отсчет, приняв за границу высокий горбатый фонарь, непонятно зачем включенный. Подслеповатым бледно-желтым глазом он недоуменно таращился в яркий полнокровный день. Но тут проехала маршрутка и окончательно сбила Надю с толку. Автобусы не считаются – так решено было сразу, – а маршрутки? Пусть тоже не считаются. Вздохнув, Надя продолжила считать. На пятнадцатой машине стало волнительно, сердце повисло перезрелым тяжелым плодом, готовым сорваться с ветки в любую секунду. И тут Надя заметила, что к проезжей части приближается молодой парень. Он был в наушниках и неотрывно смотрел в телефон. Отяжелевшее сердце в Надиной груди ударяло все сильнее, резко втягивалось и ударяло снова. Вот-вот упадет в пустоту. Надя замычала, подняла руку, пытаясь привлечь внимание. Но дети были слишком заняты игрой, а воспитательница, как и парень в наушниках, смотрела в свой телефон. Через несколько секунд раздался острый скрип тормозов, и Надя даже не заметила, какого цвета была шестнадцатая машина, сбившая парня в наушниках. Скрип пролетел под ребра щекотным ужасом. Слово насквозь пролетел.

Парень легко отделался. Быстро встал и, выплюнув несколько пенисто-горьких бранных слов, ушел. Водитель шестнадцатой машины спокойно поехал дальше.

Но Надя отделалась не так легко. Рухнув на спину, она долго стучала ногами, горланила, не поддаваясь на уговоры. Небо всей своей синей тяжестью навалилось сверху, вдавило Надю в землю. Было больно, страшно, обжигающе – словно это ее саму только что чуть не убила машина.

– Ну-ка вставай, психичка мелкая! – сказала воспитательница Наталья Олеговна.

Надя отчаянно завертела головой. Краем глаза увидела на асфальте маленькое красное пятнышко, и ей представилось, что это пятнышко и есть ее болевое ощущение. Закрыла глаза, и пятно начало стремительно расползаться во все стороны. Оно темнело, густело, пузырилось внутри головы, за височными и теменными костями. Прорывалось наружу. Наде казалось, что еще чуть-чуть – и хлынет, и весь парк, вместе с Натальей Олеговной и детьми, потонет в бурлящем темно-алом потоке. И пускай.

– Ваш ребенок больше не может посещать наше учреждение, – сказала вечером маме заведующая.

– Это еще почему?

– Да опять сегодня учудила невесть что. Цирк устроила посреди улицы. С воплями по земле каталась. Да, Наталья Олеговна?

Наталья Олеговна стояла рядом и кивала. Без конца приглаживала волосы. Сине-красный браслет с бряцаньем скользил вверх-вниз по запястью.

– И?

– Что значит «и»? Для вас это нормально?

– Но вы с самого начала знали, что берете особенного ребенка, разве нет?

– Знали, и что теперь? Да, мы пошли вам навстречу. Но мы же не думали, что придется так часто терпеть ее выходки. На прошлой неделе пальцы, теперь это. Не ест ничего, кроме йогуртов, вчера вот в кашу плюнула. Да, Наталья Олеговна?

Надя вспомнила растекающееся маслянистое пятно на поверхности манной каши. Внутри вздрогнула кислая дурнота. А заведующая продолжала:

– Не говоря уже о том, что многие дети ее просто боятся! А что, если она в следующий раз кому-нибудь пальцы дверью отобьет? Мне потом расхлебывать?

Сказав это, заведующая оскалила зубы – редкие и острые, с темным налетом.

– Ничего она никому не отобьет! Да она мухи не обидит! Да она...

Фраза оборвалась. Мамин голос чуть заметно дребезжал.

– Да вот неизвестно. Кто знает, что у нее в голове. Она же молчит все время!

– Молчит, да, молчит! А мне-то что теперь делать?

Дребезжание усилилось.

– Не знаю, что вам делать. Отдайте ее в специализированное учреждение. А к нам, пожалуйста, больше не приводите.

Мама с силой дернула Надю за руку и поволокла прочь из кабинета.

– Можно подумать, у меня деньги есть на специализированное учреждение. Тоже мне. Мрази, – чуть слышно прошипела она в коридоре. А Надя в последний раз посмотрела на львенка с оторванным глазом.

В тот вечер в автобусе было очень много людей. Мама стояла у передней двери. С каменным лицом, поджав растрескавшиеся губы. А Надя сидела позади кондуктора. Смотрела на его лысый затылок, покрытый липкой испариной, словно ромовая баба сиропом. Потом долго смотрела в окно, до самого выхода из автобуса. В сонном густеющем воздухе проплывал знакомый район. Застывшие во времени потрескавшиеся многоэтажки. Между ними желтели тоненькие липы, немного смягчая рубцы и шрамы зданий. А около домов суетилась пестрая человеческая нарезка. Люди казались двумерными, топорными, будто наскоро вырезанными из цветного картона. Живым объемом не обрастали.

Надя видела привычную картину, всегда такую убаюкивающе теплую, вселяющую спокойствие. Но сейчас при виде родного района сердце почему-то неприятно разбухало, давило изнутри на ребра.

В новый детский сад Надю не устроили, и с тех пор она снова проводит все дни дома. Мама больше не работает. Остается в квартире с «маленькой дрянью, которую никуда не берут». С одной стороны, это хорошо. Дома гораздо тише, нет визгливых детей, без конца во что-то играющих. Даже лампы не жужжат. Правда, в коридоре тикают круглые настенные часы. Ритмично отрубают ровные ломтики времени. Но это совсем не страшно, даже наоборот: завораживает и успокаивает. С другой стороны, в детском саду Надю в основном не трогали, не замечали. Не заставляли участвовать в конкурсах и маскарадах. Однажды вот даже забыли поднять после тихого часа. А дома случается по-разному. Иногда мама тоже словно забывает про Надю. Лежит целый день в постели и тихонько всхлипывает. А бывают дни, когда с мамой что-то происходит и она вдруг становится очень активной. И тогда с утра до вечера все ее внимание сосредоточено исключительно на Наде. А значит, приходится терпеть книги с яркими, как из дурного сна, картинками, удушливые болезненные объятия и всплески гнева, от которых в районе солнечного сплетения всегда возникает липкий и холодный сгусток.

– Не хочешь просить йогурт – тогда ешь, что дают, – говорит мама и снова придвигает к Наде тарелку. Отрезает своим ножом кусок сосиски, сует Наде в рот. Кусок соприкасался с пюре и немного им перемазан. Это совсем плохо.

Надя морщится и машинально жует. В голове, как назло, возникает образ соседки Аллы Владимировны, с которой они накануне столкнулись в лифте. Молча ехали вместе на пятый этаж. От соседки густо пахло одеколоном, а на голове у нее, как всегда, был двухэтажный ярко-рыжий начес. Надя вспоминает ее сероватую пористую кожу, рыхлые груди в глубоком вырезе джемпера, под расстегнутым пальто. Надя, конечно, ничего не имеет против Аллы Владими-

ровны. Но сосиска такая же рыхлая, разваренная, сероватая. И Алла Владимировна прорывается из желудка, подкатывает к зубам и выплескивается наружу.

– Ну вот еще! – кричит мама и вскакивает со стула. – Только этого и не хватало. Думаешь, я за тобой убирать буду? Да ни за что! Будешь жрать свою блевотину!

Надя больше не может терпеть. Резко тянет за край скатерти, и все, что есть на столе, с грохотом летит вниз. Звон бьющейся посуды – острый, долгий, оглушительный. Кажется, что все разбивается не на полу, а у Нади внутри. Разлетается на множество осколков, расплывается по сосудам. Надя убегает к себе в комнату. Поскорее скрыться, спрятаться, отдышаться.

А сквозь приоткрытые двери неумолимо продолжают течь голоса:

– Да что же это такое, в конце-то концов! Ни одного вечера спокойно не провести. Все только хуже и хуже с каждым месяцем, – говорит папа.

– Да? Тебе вечер спокойно не провести? А я, между прочим, с ней целыми днями сижу. И знаешь, не жалуюсь.

– Это ты хотела детей. Вот, пожалуйста.

– А я знала, наверное, что она такой родится? Если ты забыл, я из-за нее работу бросила! Потому что ее ни в какой детский сад не берут и не возьмут никогда.

– О да, сочувствую. Тебе пришлось бросить блестящую карьеру консультанта обувного магазина. Какая потеря!

Надя ложится на спину, на ковер, ровно посередине, не вылезая ни на сантиметр за границы центрального бежевого квадрата. Вокруг во все стороны расходятся красно-коричневые пыльные ромбы, овалы, виньетки. Надя смотрит вверх, на незажженный скелет люстры. Осколки от разбитой посуды потихоньку размякают внутри, теряют острые углы, растворяются.

– Да, карьера, какая есть! Ты же вот небось не хочешь бросать свою ради того, чтобы с дочерью сидеть? Не хочешь ведь?

– Да я уже давно бросил свою настоящую карьеру, свое призвание, свое творчество. Бросил, чтобы торчать с утра до вечера в этом идиотском офисе, в угоду тебе и твоей мамаше, чтобы обеспечивать умственно отсталую дочь. И даже вечером, у себя дома, я не могу расслабиться и отдохнуть.

– Представляешь, я тоже не могу расслабиться и отдохнуть!

– Послушай, Марина, я устал. Так больше не может продолжаться. Я хочу выбраться из этого ада, вздохнуть свободно.

– И что? Хочешь развестись? Прекрасно, давай разведемся. Только не думай, пожалуйста, что после развода ты начнешь новую легкую жизнь с чистого лица, с новой молодой пассией, а весь этот кошмар оставишь мне. Не надейся, что я оставлю дочь у себя и дам тебе свободно вздохнуть, как ты говоришь. Да, и не смотри так.

– Да ты просто не в себе.

– Я подам в суд и добьюсь совместной опеки над ребенком с поочередным проживанием. Неделю у тебя, неделю у меня. Мы оба родители, оба несем ответственность. А что ты думал?

– Я думал, что ты вообще-то мать.

– И что? Мне не восемьдесят лет, я тоже собираюсь устраивать свою личную жизнь.

Родители еще долго ругаются, еще долго «не в себе». А Надя сжимается внутри бежевого квадрата. Если они разведутся, значит, наступят перемены. Все перестроится, все пойдет не так, как раньше. Привычный уклад жизни нарушится. Где-то глубоко внутри на Надю набегают пеннистая тревожная волна. Как в «Синем страхе», фильме про море. Волна вздувается, опадает, ползет обратно и набегают снова. Все тяжелее, все соленей, все больше оставляет скользких густых водорослей на сердце. Надя начинает вспоминать имена актеров, реплики из первой сцены – в порту, реплики из второй сцены – дома у главного героя, Эдриана, реплики из третьей сцены – на заводе по производству рыбных консервов. На Надином окне занавески

красные и блестящие, словно промасленные, словно томатный соус в консервных банках из фильма. И Надя помнит, что в итоге этот соус оказался человеческой кровью. В голове всплывают реплики из предпоследней сцены. Но фильм совсем не пугает: пугают предстоящие перемены, падение в неизвестность. Надя лежит неподвижно, прижав колени к груди. От волнения закусывает изнутри щеку, вгрызается зубами в себя саму. Кусает себя долго, пока не чувствует солоноватое тепло крови. Тогда принимается за другую щеку. Надя вжата в пол, впечатана в комнату – все равно что в консервную банку. Будто полностью отрезанная от мира, утрамбованная, упакованная, она томится в собственном кровавистом соку.

## Перемены

Но перемены наступают не сразу. Еще полгода все остается на привычных местах. Новое течение не врывается в жизнь, не сносит своим напором вещи, закрепившиеся вокруг Нади. Все они мирно дремлют в сладковатой и теплой толще застоявшейся воды. И эта толща надежно защищает Надю от огромного и неизвестного мира, где все хаотично и возможные ситуации никем и нигде не прописаны.

Снег постепенно темнеет и сходит с земли. Липы и клены рядом с детской площадкой покрываются хрупкой чахоточной листвой, верх двора затягивается зеленым. Каждый день Надя с мамой ходят на детскую площадку, где есть качели с облупившейся синей краской и ржавые горки. Иногда на площадке резвятся дети, а иногда вместо детей гуляет рыжий кот на трех лапах. Кот неуклюжий, хилый, болезненный – как Надя. Мама всегда садится на скамейку рядом с горкой и сразу достает свой телефон. Долго-долго смотрит на экран. То начинает часто моргать, то приоткрывает рот – непонятно, что это значит. Бывает, что улыбается, но довольно редко. А Надя никогда не идет играть с другими детьми и не забирается на качели, даже если те свободны. Все время, пока мама смотрит в телефон, Надя катает по кругу кусок ржавой ребристой трубы, оставленный кем-то на площадке пару лет назад. Или скovyривает с деревьев лохмотья трухлявой коры. Измельчает их в крошку и рассыпает над лужами, представляя, что это развеянный над океаном прах Фернанды Сантос из сериала «Холод страсти». Иногда гладит рыжего кота.

Потом они возвращаются с прогулки. У подъезда неизменно стоят несколько мешков с мусором, и Надя с мамой аккуратно их обходят. Если нельзя обойти – перешагивают. В подъезде всегда крепкий слоистый запах и стены цвета жеваной резинки. В каких-то местах кожа стен из жеваной резинки осыпалась и выглядывает темно-красное стеночное мясо. Надя не застала времен, когда стены были полностью «мясными», темно-красными. На полу под почтовыми ящиками разбросаны яркие рекламные листовки. Мама всегда ругается, когда их видит, а Наде они нравятся.словно идешь по ковру из осыпавшихся осенних листьев.

В лифте и на лестнице чаще всего пусто, но иногда встречаются соседи, например усатый Павел Сергеевич с большой собакой, похожей на него самого – и усами, и мутным выражением глаз. Из-за них в лифте периодически пахнет мокрой псиной. А на лестничных площадках почти всегда разбиты лампочки, но с Павлом Сергеечем это, скорее всего, никак не связано.

Дома у Нади есть любимые игрушки. Например, батарейки. Надя выкладывает старые батарейки в ряд. Сначала идут самые толстые бочонки – от часов и сломанного будильника, затем средние пальчиковые – от компьютерной мыши и пульта, и наконец мизинчиковые – от фонарика. Всего двадцать четыре, и запасы постоянно пополняются. Еще Надя любит вырезать из бумаги ромбы и овалы – чтобы были по размеру как ромбы и овалы на ковре и точно на них накладывались. Чтобы белые бумажные фигуры закрывали собой ворсистые красно-коричневые. Правда, ровно вырезать никогда не получается: тяжелые ржавые ножницы не слушаются Надиных рук, без конца выскользывают, упрямо отклоняются от намеченных линий. А мама вообще говорит, что у Нади руки растут не из того места. Но Надя очень старается. В детском саду ее как-то заставили вырезать вместе с другими детьми из бумаги снежинки, и это было настоящей пыткой. А вот вырезать ромбы и овалы приятно и увлекательно.

По вечерам Надя смотрит с мамой телевизор. Садится в уголке гостиной, поджав под себя одну ногу, на старый бордовый диван с оголенными пружинными нервами. Больше всего Надя любит сериалы – особенно начальные и конечные титры. Во время серий в основном разглядывает лица актеров на заднем плане – не важных, массовочных персонажей, выброшенных на периферию сцен.

А главное удовольствие – это забраться с ногами на подоконник своей комнаты и смотреть вниз, на протекающую улицу. Или перед собой – на годами не мытые подслеповатые прямоугольники окон, которые к вечеру наполняются разноцветным теплом. Смотреть в окно – это ритуал, от которого невозможно отказаться. Надя забирается на подоконник в двенадцать, в пятнадцать десять, в семнадцать тридцать и в восемнадцать сорок. У других тоже есть свои ритуалы: например, в семь вечера в доме напротив на балкон выходит мужчина в трениках и желтом свитере. Три минуты он курит, затем бросает окурок вниз и неизменно плюет ему вслед. Однажды мужчина не выходил на балкон целых четыре дня, и Надя все это время сильно тревожилась. Даже болела. Словно длинная скользкая змея развернулась, расплелась у Нади за ребрами, поползла к горлу и там застряла. И только когда мужчина вновь появился на балконе в положенный час, змея исчезла. Надя сидела в тот вечер на подоконнике легкая и свободная. Ей казалось, что волшебное, нездешнее спокойствие густо разлито в воздухе. Как зачарованная, Надя неподвижно смотрела на мужчину все три минуты, а тот – как зачарованный – неподвижно смотрел куда-то в пространство. Будто оба медленно проваливались в один и тот же застывший сон. И все было хорошо, все на своих местах.

В Надину комнату часто заходит мама. Пытается расшевелить, разговорить, превратить в «нормального ребенка». Каждый раз словно пытается вытянуть Надю из тела, с кровью оторвать от нутра. Это, конечно, не очень приятно, но тоже стало частью рутины. Пустило корни в привычный распорядок дня. И Наде уже не представить свою жизнь без ежедневных маминых тормошений.

Перемен избегает не только Надя, а, похоже, многие. Например, соседи из коммуналки на первом этаже, которые не хотят расселяться, хотя папа сказал, что «этим долбоебам давно предлагают отдельные жилплощади». Или вот мамина подруга тетя Ира. Полгода назад она приходила в гости жаловаться на жизнь. И вот сейчас Наде кажется, что ее безупречная память, дословно сохранившая разговор полугодичной давности, по капле просачивается на поверхность реальности. Тетя Ира сидит на том же стуле, точно так же подперев подбородок. Говорит хрипловатым низким голосом, немного шуршащим, словно оседающие в коридоре пластиковые пакеты. Надя играет в батарейки на кухонном полу, в метре от ее небритых икр, затянутых прозрачными колготками. По левой ноге – как и полгода назад – бежит тоненькая стрелка.

Тетя Ира плачется Надиной маме:

– Я просто уже больше не могу. За копейки сидеть в этом гадюшнике, бумажки выдавать, это вообще нормально? Еще и постоянно со всякими уродами общаться. На днях вон явился чурка престарелый, устроил скандал, типа чего это ему разрешение на работу не хотят продлевать. Действительно, чего это? Да потому что, блядь, у тебя регистрация уже месяц как просрочена и миграционка фиг знает где. Его вообще пора гнать давно в три шеи. А он еще права качает и чуть ли не угрожает мне.

– Ириш, может, уйдешь уже наконец оттуда?

– А куда? В поликлинику, в регистратуру?

– А на хрена тебе вообще эти гребаные госучреждения? Неужели не устроиться в частную контору?

Надя поднимает глаза. Тетя Ира – как и тогда – похожа на несвежую зеленовато-серую рыбину. Острые скулы, острый нос, постоянно выпученные глаза. Когда тетя Ира молчит и слушает маму, ее рот беззвучно приоткрывается.

– Не, ну правда, – продолжает мама. – Сейчас, по-моему, столько предложений. Вообще где угодно можно найти. С нормальной зарплатой.

– Ага, и вкалывать по двенадцать часов. Нет уж, спасибо. У нас хоть расписание божеское: отсидел свои положенные часы и свободен. Да и вообще... Я привыкла уже как-то. Всегда горячий чай, кофе, девочки печенюшки вкусные приносят. Магазин в соседнем здании, если

сигареты закончились. И у нас дворик для перекуров симпатичный. Да и работа сама не такая уж кошмарная, это я преувеличиваю.

– Ну да. Всяко лучше, чем дома сидеть с умственно отсталым ребенком.

Тетя Ира допивает резким глотком вино, поворачивается к Наде и бордовыми губами улыбается ей. Улыбка выходит приторной, свекольно-паточной.

– Ты так и не говоришь, детка?

Надя морщится. Ее будто макнули в густую свекольную патоку с головой.

– Не говорит она, нет. Я уже рукой махнула. Ладно, не обращай ты на нее внимания. Пусть играет в свои батарейки, строит из них замки или что там еще. Ты лучше скажи мне, как у вас с Гришей? Лучше не стало?

Тетя Ира наливает себе еще вина.

– А с чего должно становиться лучше? Нет, конечно. Вчера вон пришел опять за полночь. Прошел на кухню, достал пиво из холодильника, на меня ноль внимания. Как будто я вообще не существую. Смотрит в свой телефон, посмеивается вполголоса. Я к нему подхожу, говорю: «Я что, прозрачная?» А он тут же кривится, убирает телефон и такой мне заявляет: «Слушай, Ира, я устал очень. Отстань от меня, пожалуйста». Не, ну нормально вообще? Я как бы тоже устаю, и что дальше?

Монолог полугодичной давности ровно накладывается в Надиной голове на монолог теперешний. Слово белый бумажный ромб на красно-коричневый ворсистый. Две абсолютно идентичные сцены.

– Да, знакомая картина. Тебе давно пора уже от него уходить, как и мне от Вадика. Только вот мне не к кому, а у тебя же вроде намечался какой-то ухажер? Разве нет? Ты же мне рассказывала, тот самый, из налоговой, как его?

Надя помнит про ухажера из налоговой. Его зовут Этот.

– А, этот... – тетя Ира машет рукой. – Ну есть такой. Но уходить к нему – это как-то слишком. Да он и не предлагал. И вообще... вдруг этот еще хуже окажется? Вполне возможно, кстати. Не зря же от него бывшая ушла с двумя детьми. К тому же у него с жилплощадью проблемы. Ну а Гришу я уже почти пятнадцать лет знаю.

Тетя Ира пьет без остановки и повторяет знакомые фразы. К концу вечера ее острые рыбы черты слегка обмякают, подтаивают, словно полежавшее в тепле мороженое. Выпученные глаза потихоньку вдавливаются обратно в орбиты и теперь напоминают красноватые блестящие пуговицы. Как на мамином демисезонном пальто.

– Ничего, пусть все останется так, как есть. Правда, Мариш? Как-то дотянули до сих пор, протянем и дальше, – хрипло говорит она и роняет крупную слезу в остатки салата «Мимоза с сайрой».

Надя согласна с тетей Ирой. Пусть все останется как есть. И поэтому Надя рада, что приходящее лето – так же, как и весна – не приносит с собой перемен.

Июнь такой же, как в прошлом году. На детской площадке все больше подтеков от пива: иногда они высохшие, а иногда совсем свежие. Нередко валяются пустые жестяные банки – Надя с удовольствием катает их по кругу вместо ребристой трубы. Они гораздо легче и звонче. Мужчина из дома напротив – тот самый, что курит на балконе в семь вечера, – сменил желтый свитер на белую майку с большой дырой на животе. Как в прошлом июне. А Надина теплая куртка сменилась на легкую фиолетовую ветровку. Втискивая в нее неповоротливое, словно закаменевшее Надино тело, мама каждый раз раздраженно произносит: «Эй, проснись!»

А бамперы и капоты машин все гуще покрываются трупами мошек и комаров. Нередко среди этой серой трупной массы возникают и цветные пятна бабочек. Глядя на них, Надя всегда представляет, что эти бабочки не случайно впечатались в летящую поперек их пути железную смерть, а сознательно покончили с собой, умышленно бросились на машину. Как Энни

и Коул из сериала «Невспомненные» (в ролях Оливия Диас и Норвуд Ли). Надя может остановиться на улице и подолгу смотреть на размазанные по капоту или лобовому стеклу яркие крылья. Даже разозленной маме, кричащей и больно дергающей за руку, не под силу сдвинуть Надю с места в такие моменты. Надя стоит и рисует в голове последний момент жизни бабочки. Этот момент густеет, набухает, растягивается до бесконечности в тревожно-синем ветреном блеске. Как иной раз бывает во сне. Наливается предчувствием неизбежной боли. Бабочки очень хрупкие, к ним вообще нельзя прикасаться, даже слегка... Но ведь эта сама захотела болезненной смерти, думает Надя. Хотя неболезненного способа умереть для нее, наверное, не существует.

Надя не уходит до тех пор, пока все ее ощущения сами не становятся хрупкими, как крылья бабочки.

Родители продолжают ругаться, но это в порядке вещей. Лишь бы их ссоры не перелились через край. Закусив губу или щеку, Надя смотрит в окно, на экран телевизора, в себя. Ходит на детскую площадку, где катает пивные банки. Под шумными детьми все громче скрипят качели, и в этом скрипе Наде слышатся слова. В основном имена. Например, Дженис. Дженеенис, Дженеенис, Дженеенис. Дженис умерла от рака в позапрошлой серии.

Перемены приходят только в самом конце августа. Около недели назад в доме сломался лифт, и целый день все ходили вверх и вниз пешком. Надя с мамой тоже. Возвращаясь с прогулки, они поднимались по лестнице и заметили, что у двадцать третьей квартиры стоят люди в форме – молодой и постарше. Мама остановилась посмотреть, и Надя вместе с ней. А две минуты спустя из квартиры на носилках вынесли два маленьких тела, накрытые простынями. От носилок шел удушливый запах. На лестничной площадке тут же откуда ни возьмись появились соседи: старушка, похожая на мертвую муху, два сухощавых парня, которых до этого Надя видела всего один раз, и Алла Владимировна. Обращаясь к людям в форме, Алла Владимировна сильно кривила свой жабий рот и сводила брови-ниточки:

– Ну так нам-то откуда было знать? Мы что, следим за ними?

– Их больше месяца назад машина сбила. За это время могли бы и заметить что-то, – сухо ответил человек в форме – тот, что постарше, – и странно оскалился. У него не хватало одного зуба, и его рот напоминал мамину серо-бежевую расческу с отломанным зубцом.

Его молодой напарник что-то строчил, не отрываясь, в своем блокноте.

– Да мы не общались с ними вообще, – продолжала Алла Владимировна. – Они и по-русски-то с трудом говорили. Неудивительно, что без регистрации.

– Но вы были в курсе, что у них есть маленькие дети?

– Ну видели пару раз... И что из этого? Мы же не знали, что их в квартире одних оставили.

– Что из этого, что из этого... Если бы ближайшие соседи из-за запаха не позвонили, так бы и не выяснили никогда.

После этого мама потянула Надю за руку, наверх.

В течение следующей недели Надя еще глубже проваливалась в себя. Без конца вспоминала прошедший месяц. Что она делала, например, две недели, три дня и шесть часов назад? А три недели, один день и восемь часов назад? Раскладывала батарейки? Смотрела в окно? Сидела в остывшей ванне с остатками пены и ждала, когда мама закончит говорить по телефону и вытрет ее полотенцем? Надя ложилась на ковер, вжималась спиной в пол, словно прорастала в перекрытия, становилась частью дома, всеми нижележащими этажами. Четвертым, третьим, вторым... Растекалась по трубам, по рисунчатым обоям, по старой чужой мебели. Мысленно собирала внутри себя все квартиры.

Еще Надя всю неделю плохо спала. С ней такое случалось и раньше, причем довольно часто. Но раньше она переносила бессонницу молча. Тихонько покусывала щеку, уставившись

в темноту. В темноту свою и темноту комнаты. Мысленно соединяла половинки узора на стенах: те разъехались вверх и вниз из-за несостыкованных обоевых полос. Но тут носилки из двадцать третьей квартиры будто вынесли Надю из беззвучной ночной темноты – сами собой, без помощи санитаров. Надя стала скуливать, сначала вполголоса, хлопая себя по щекам липкими от пота ладонями. До утра ворочалась в мятой влажной постели. А ее все несли и несли, бесконечно выносили из молчания, из спокойствия собственного тела. И Надя скулила все громче, все сильнее хлопала себя по щекам. А вчерашней ночью закричала. Густые утробные звуки вылетали из Надиного горла, словно подгоняемые потоком крови – не своей, теплой, а чей-то чужой, остывшей, непонятно как оказавшейся в Надином теле.

В комнате по очереди появились родители. Зажгли свет и посмотрели на Надю заспанными красными глазами. Надя тут же замолчала, до боли впившись неостриженными ногтями в мякоть щек.

– Ну что опять устраиваешь? – сдавленным раздраженным голосом сказала мама.

Надя закрыла глаза, и за веками разлилось красное воспаленное тепло, смешавшись с отпечатанным светом люстры.

– Сказать ничего не можешь, только вопить умеешь, да? По ночам особенно. Ты слышишь меня, дрянь такая?

Мама злилась сильнее, чем обычно. Приоткрыв глаза, Надя смотрела на ее закаменевшее лицо. Внутри Нади все быстро соскальзывало в засасывающую воронку тревожной пустоты. Откуда-то снизу из этой пустоты ударяло сердце, отскакивало и ударяло с удвоенной силой. Пятьдесят, сорок девять, сорок восемь...

– Ну и что с тобой делать? Вот что делать, сейчас-то? Я, конечно, сама виновата, потому что делать что-то надо было раньше, несколько лет назад. В первом триместре беременности.

Тут молчащий до сих пор папа с силой ударил кулаком о стену, как раз по несостыкованному узору.

– Да что ж такое! Теперь и поспать нормально нельзя. Мне завтра на работу вставать в шесть утра. Все, с меня хватит. Больше не могу. Я человек в конце концов, а не робот. Я уйду из этого ада.

Тут вдруг каменные черты маминого лица словно ожили и странно растянулись. Мама резко села на Надину кровать, схватила Надю за плечо и потянула к себе. От сильного рывка в глазах потемнело. Мама прижала ее голову к своей груди, от которой пахло табаком. Стало больно, но Надя не сопротивлялась. Она словно целиком была проглочена ужасом, заперта внутри прозрачной ледяной неподвижности. Надя не могла даже думать. Мысли тоже беспомощно застыли, примерзли друг к другу. А мама принялась порывисто гладить Надю по голове, еще больше растрепывая ей волосы.

– Пожалуйста, уходи, раз хочешь. Никто тебя не держит. Вот прямо сейчас собери вещи и проваливай. Оставь нас на произвол судьбы – меня и больную дочь. Спать ему, видите ли, мешают. Ничего, мы справимся и без тебя, да, доченька? Не переживай, Надюш, мы справимся. А ты иди. Убирайся. Я свою дочь не брошу, буду растить ее в одиночку.

Но мама не стала растить Надю в одиночку. И вот сейчас в непривычно опустевшей Надиной комнате стоит бабушка, и мама вручает ей большую дорожную сумку.

– Вот, мам, пожалуйста. Ты, кажется, хотела сделать из нее человека – так у тебя появился шанс.

Бабушка молча берет сумку и сжимает Надину ладонь. Наде так страшно, что она не ощущает своего тела. Будто ее сорвали с ветки, как сливу, разорвали пополам и вытащили косточку. Осталась бесчувственная мякоть – бесформенная, не согретая жизнью.

Когда они с бабушкой спускаются по лестнице, Надя ведет пальцами по стенам. Неотрывно смотрит, как от ее прикосновения со стен желтоватой перхотью осыпаются чешуйки.

Приоткрывают предыдущий, темно-красный слой. Изначальная краска потихоньку отвоевывает назад свою территорию. Когда-нибудь стены снова станут полностью темно-красными, но Надя этого уже не увидит.

– Хватит грязь собирать! – говорит бабушка.

А мама так не говорила. Она обычно смотрела в свой телефон и не замечала, что Надя трогает стены.

По дороге к автобусной остановке Надя без конца оборачивается, смотрит на такие привычные и родные пакеты с мусором, выстроенные в идеально ровный ряд у двери. Больше их не будет. А что будет взамен? Надя пытается представить свою новую жизнь, но ничего не получается. Мысли бегут и с разбега налетают на ослепительно белую пустоту. Наталкиваются на абсолютную стерильность. Почти такую же, как в белоснежном шкафчике процедурного кабинета поликлиники. Поликлиника, кстати, тоже, возможно, будет другой.

Надя с бабушкой молча идут по вечеряющей летней улице. Прошел дождь, и в воздухе резко пахнет то ли свежестью, то ли осенне-грибной прелью. Улица мокрая, залита светом фар и оттого похожа на облизанный леденец. Или просто мокрый. В памяти всплывают леденцы в виде сердечек, выданные в детском саду на чей-то день рождения. Кажется, на день рождения той рыжей девочки, которой Надя наступила на руку. Надя тогда представила, что это вырванные сердца замерзших в пруду уток, и, перед тем как съесть свой леденец, долго отогревала его под струей горячей воды.

Во рту становится сладко, тепло, и страх немного отступает.

## Первое слово

На новом месте, как и следовало ожидать, все было по-другому. Этаж был вторым, окна выходили не на жилой девятиэтажный дом, а на одиноко стоящую маленькую «Пятерочку», приютившую под своим крылышком аптеку. Использованных батареек в квартире не оказалось вовсе: их сразу же выбрасывали; а освежитель воздуха был не сосновый, а лимонный. Еще был дядя Олег, мамин брат. Ему уже исполнилось тридцать два года, но жить отдельно он не собирался. Его лицо казалось совсем детским: молочно-белое, с красным прыщиком на носу. Вечно растрепанные волосы были пшеничного цвета. Огромные глаза – ореховыми. Как у детсадовского мальчика Гриши, который однажды описался во время тихого часа. Дядя Олег работал удаленно – *фрилансером-программистом*, как он сам себя однажды назвал, разговаривая с кем-то по телефону. Или *вольным копеейщиком*, как называла его бабушка. Целыми днями он сидел за компьютером. Проходя мимо его комнаты, Надя всякий раз незаметно заглядывала внутрь через приоткрытую дверь. На мониторе компьютера виднелись то стреляющие монстры, то голые женщины.

– Олежка, приходи кушать, – говорила каждый вечер бабушка.

Но Олежка никогда не шел, не отрывался от работы, и бабушка приносила ему ужин в комнату. Днем, когда бабушка была на работе, дяде Олегу приходилось самому добывать себе пропитание. И на его столе рядом с компьютером появлялись разведенный «Доширак» или банка консервированной кукурузы. Вечером при виде этих яств бабушка неизменно всплескивала руками:

– Олежка, ну как так можно! Ты же желудок себе испортишь. Женить тебя надо, а то я вот помру, и кто за тобой ухаживать будет?

– Мама, хватит уже, – лениво отмахивался дядя Олег, не отрывая глаз от монитора.

– А что хватит? Что хватит? Ты даже стиральную машину не в состоянии включить. На, возьми яблочко: хоть витаминов немного получишь.

Дядя Олег не любил яблочки. С раздраженным видом откусывал и клал на стол. Яблоко так и оставалось лежать целые сутки рядом с компьютером: с одной стороны гладкое, налитое медовой полупрозрачностью; с другой – раненое, изувеченное, с разорванным бочком, покрытым коричневатой кровью. Как нарисованное яблочко на крышке ноутбука.

Когда бабушка привела Надю в дом, дядя Олег совсем не обрадовался.

– А мы-то тут при чем? – тягуче-гнусявым голосом говорил он. Страдальчески сводил при этом брови. – Ну, ушел от нее Вадик, и что дальше? Правильно сделал, между прочим. Нечего было ему мозг выносить. И вообще пусть сами решают проблемы со своими отпрысками.

– Олеж, ну как ты можешь?! Это же родная кровь!

– Родная кровь... Сказал бы я. И что, мне теперь следить за ней, пока ты на работе? У меня вообще-то тоже работа, если ты забыла. И нянкой наниматься я не собираюсь.

– Я постараюсь пораньше приходить. Договорюсь с Антониной Илларионовной. Свой восьмой «Б» Любе отдам. Не переживай, Олеж.

Дядя Олег прикрыл глаза и застонал.

– Пусть только молчит и не смеет ко мне лезть со всякими мультфильмами и тупыми играми.

– Олеж, так она и так все время молчит. Забыл, что ли?

– Ах, ну да. Она же еще и инвалид.

Впрочем, довольно скоро дядя Олег смирился с присутствием Нади. По крайней мере перестал жаловаться бабушке. Практически целыми днями Надя сидела в своей комнате, он – в своей. А если кому-нибудь случалось выйти в коридор, то зеленый пушистый ковер бесшумно проглатывал шаги. Две жизни, втиснутые в небольшое квартирное пространство, почти не пересекались. Надя никогда не подходила к дяде Олегу, а дядя Олег не подходил к Наде. И только с возвращением бабушки плотное молчание квартиры прорывалось.

– Ну как вы тут, мирно живете? – спрашивала она, распахивая настежь все двери. Словно морозный вихрь, врвалась в стоячий комнатный воздух. У Нади даже слипались ноздри, как на настоящем морозе.

– Нормально все, – бурчал в ответ дядя Олег.

– Ну вот видишь, Олеж. Я же говорила, что Надюша тебя не потревожит.

– Ну, допустим.

– Ты суп вчерашний разогревал?

– Нет, мам, я консервов поел.

– Консервов он поел. А Надю покормил?

– Да она как-то сама вроде бы там кормится.

– Эх, ничего вы без меня не можете. Ладно, мойте руки.

К новой комнате Надя привыкала довольно долго. Бабушка говорила, что когда-то эта комната была маминой. Видимо, очень давно. Потому что никаких маминих следов здесь не обнаружилось. И табачного запаха совсем не ощущалось, даже легкого.

Надя раскладывала повсюду красочные книжки, которые мама положила ей в дорожную сумку. Ни разу их не открывала, но немного успокаивалась, видя в чужой обстановке знакомые предметы. Обои на новом месте были, как и в родительской квартире, цветастые, но все узоры оказались состыкованными. На одной стене пестрели любительские акварельки – подарок какой-то бабушкиной ученицы; с другой на Надю удивленными квадратными глазами таранилась кружевная сова в рамке. Еще была черно-белая бумажная гравюра: худая женщина с вытянутым лицом и хищным взглядом. Надя очень боялась ее: чудилось, что по ночам та оживает, и глаза женщины наливаются колючим ледяным светом. Снять гравюру у Нади не получилось, и на шестой день она заштриховала угрожающее лицо жирным черным карандашом. Но это не помогло. Надя чувствовала, что сквозь крошечные, невидимые глазу прорехи в черной штриховке женщина продолжает за ней наблюдать. Смотрит из укрытия, из-под покрова черноты. И тогда Надя плеснула на гравюру кока-колой, тайком взятой из холодильника. Пятно мгновенно растеклось и впиталось в бумагу, не оставив хищному взгляду ни единого шанса.

– Ну что ж ты у меня за горе-ребенок! – сказала на следующий день бабушка.

А затем убрала гравюру и положила ее в шкаф под книги. Надя была этому очень рада, потому что из-под тяжелых томов женщина, тем более ослепшая от кока-колы, вряд ли сможет выбраться.

По ночам Надя не кричала и не скулила. Но спала очень плохо – особенно в первые две недели. Напряженно вглядывалась в непривычные очертания комнаты. Сознание постоянно опрокидывалось вспять, летело обратно в родительскую квартиру.

Сейчас Надя тоже не спит. Все представляет, как они там сейчас, без нее, – узорчатые стены ее родной комнаты. Она лежит здесь, в новом доме, в новой постели, а они существуют там сами по себе, смотрят друг на друга в тишине. В абсолютной тишине. Хотя нет, не в абсолютной: коридорные часы, наверное, по-прежнему тикают. Стены смотрят из глубины себя, смотрят, молчат и... существуют. Или уже и не существуют? И правда, зачем им существовать без Нади? Тогда, когда Надя их не видит? Но мама ведь существует без Нади. И, возможно, сейчас пьет вино с тетей Ирой или кем-то еще из подруг.

Сон долго не покрывает полностью Надино сознание – в последний момент разламывается и плавает по поверхности отдельными кусками, словно льдины по реке, а Надя как будто смотрит в пространство между ними, снизу вверх, из черной водянистой глубины. Только к утру удается покрыться сплошным слоем сновидения. И слой этот тонкий, хрупкий и насквозь пропитан кошмарами.

Но проходит месяц, и Надя начинает привыкать. Начинает строить новый уютный мир вокруг себя, с новыми атрибутами. Напротив больше нет балконов и курящего в семь вечера мужчины, зато есть старушка, которая приходит в «Пятерочку» за покупками по вторникам и пятницам в четырнадцать двадцать. Со второго этажа неплохо можно разглядеть ее болотно-зеленый плащ и серый берет, из-под которого торчат жесткие волосы с проседью. А в восемь вечера мимо «Пятерочки» каждый день проходит парень с коричневым лабрадором.

Сентябрь в этот раз дождливый, и окно часто в мелких каплях – словно покрыто бисером. Аптека напротив зажимается мокрыми стеклами, и когда кто-то открывает или закрывает ее двери, кажется, будто она зябко вздрагивает во сне. Ее зеленый неоновый крест влажно светится и стекает в асфальт. Надя думает, что он гораздо красивее, чем новогодняя елка, которой ее мучили прошлой зимой, заставляя терпеть прикосновения пьяного Деда Мороза.

Вместо батареек Надя теперь сортирует старые пуговицы. Их у бабушки оказалось много – на целых три жестяные коробки из-под конфет. Круглые, квадратные, прямоугольные, овальные, красные, оранжевые, черные, зеленые, металлические, костяные, деревянные, пластмассовые. Надя раскладывает их изо дня в день, классифицируя по форме, цвету, материалу, размеру. Одну пуговицу – овальную, с ушком – Надя всегда оставляет в стороне. Представляет, что эта пуговица – она сама, лежащая особняком вдали от всех. Вдали от строев, колонн, шеренг.

Иногда бабушка отбирает у Нади пуговицы и ставит коробки на самую высокую полку шкафа. Тогда Надя принимается за столовые приборы. Разделяет суповые, десертные, чайные и кофейные ложки. У бабушки, видимо, плохо со зрением: она вечно их путает и кладет не в те отделения ящика.

Бабушка, как и обещала, постоянно пытается сделать из Нади человека. Гораздо чаще, чем мама. Подносит к лицу книжки и картинки, как будто в них есть что-то большее, чем в других вещах; что-то такое, что заставит Надю прервать молчание. Бабушка трясет ее за плечо, заглядывает в рот в ожидании слов. Смотрит так отчаянно, словно готова выковыривать эти самые слова с мясом из Надино горла. А не сумев пробиться сквозь стенку немоты, вздыхает и садится проверять тетради. При этом вполголоса ругается.

Надя страдает от бабушкиных попыток ее растормошить. Зато радуется, что дядя Олег вообще ее не трогает, а сидит в своей комнате перед монитором и молча ест «Доширак». Дядя Олег для Нади – идеальный мужчина, и если бы можно было выйти замуж за дядю, она обязательно бы это сделала. По крайней мере так она сейчас думает. И, кажется, ее симпатия взаимна: несколько дней назад Надя слышала, как дядя Олег говорил кому-то по телефону: «Девчонка, слава богу, вообще нормальная: не слышно, не видно». Первый раз Надя от кого-то услышала, что она *нормальная*.

Сериалов, в отличие от мамы, бабушка не смотрит. Развлекательных шоу тоже. Зато часто включает радио, когда проверяет на кухне тетради. В основном слушает новости и передачу о здоровье.

Но позавчера по ее станции передавали Венгерские танцы Брамса в фортепианном исполнении.

Когда из приемника доносился хрипло-скрипучий голос диктора – словно сухими крошками рассыпался, – Надя стояла в коридоре. Думала о разном – ни о чем конкретном. Бесфор-

менные мысли утопали в сознании, проваливались в бездонный внутренний колодец. Взгляд безвольно скользил по ровным обойным узорам. И вдруг из-за закрытой кухонной двери полилась музыка. Надя тут же почувствовала, что у ее внутреннего колодца вдруг возникло дно и падение мыслей прекратилось. Почувствовала и то, как ее собственный взгляд выплыл из пустоты и наткнулся на кухонную дверь. Надя сделала несколько шагов, дернула за ручку, и раскупоренные звуки фортепиано стремительно на нее полетели.

Бабушка вздыхала, слюнявила палец, резко переворачивала страницы. Не поднимала глаз. А Надя, замерев, стояла на пороге кухни, и ноты из приемника все летели на нее. Ноты были похожи на мыльные пузыри, которые однажды незнакомый мальчик пускал во дворе – рядом с ржавой горкой. Вот летят несколько больших, а за ними стайкой – много маленьких и совсем крошечных, еле различимых. Ноты полупрозрачны, округлы, легки. Переливаются в лучистом воздухе. Ноты очень уязвимы: одно неосторожное движение, и они схлопнутся, растают. Поэтому Надя старается не двигаться. Ноты полностью заполнили собой кухню, заполнили Надю. Надя улыбается – впервые в жизни. Бабушка этого не видит: она поглощена «писаниной оболтусов». Надя чувствует, как летящие ноты касаются ее, остаются в ней. И ей кажется, что она сама воздушна, практически невесома. Все Надины чувства обнажаются, становятся такими же уязвимыми, как ноты. И стайкой летят вверх, к кухонному закопченному потолку.

В ту ночь Надя наконец-то хорошо спала. Едва только устроилась под одеялом, как вязкий успокаивающий сон без волнующих видений сразу же утянул ее за собой, в глубь ночи.

А вчера случилось неожиданное. Надя произнесла свое первое слово.

Они с бабушкой редко выходили на улицу: за месяц погуляли всего пять раз – вокруг «Пятерочки» и в лежащем неподалеку сквере. А вот вчера даже поехали на автобусе. Бабушке зачем-то понадобилось отправиться в субботу в РОНО, и она решила взять с собой Надю, «вывести в свет».

– Нужно привыкать бывать среди людей, – сказала бабушка, всовывая деревянные Надины руки в шуршащие рукава ветровки.

Посещение РОНО Надю совсем не впечатлило. Было сиротливое трехэтажное здание, рядом с которым росли кустарники, и среди жирных зелено-желтых листьев блеснул пакет из-под чипсов. Были потрескавшиеся стены, гулкий коридор с коричневым паркетом, прочерченным посередине вытоптанной бежевой тропой. Были сосредоточенные хмурые лица, покрытые чешуйками и бородавками. Вот, собственно, и все. Зато обратную поездку на автобусе Надя запомнила навсегда.

Поначалу ничего примечательного не происходило. Автобус летел по незнакомым улицам, надрывно рычал, размашисто вилял на поворотах тяжелым корпусом. Бабушка сидела рядом с Надей, без конца листала со вздохами какие-то бумаги. Утренний дождь закончился, и теперь над коростами плывущих мимо крыш назревало солнце. Нагревало Надино автобусное окно. Надя шурилась, и солнце переливалось между ресницами золотистым топленым медом.

И тут она стала прислушиваться к разговору сидящих впереди. А точнее, разговор как будто сам выплыл из внешнего мира в ее сознание.

– Вот блин! – сказала коротко стриженная красноволосая девушка, нервно потрясая телефоном.

– Что такое? – спросил парень с крепким белобрысым затылком.

– Да маме надо срочно включить мой старый ноут. Ее сломался. Сонькины анализы надо сканировать и врачу отправить этому новому. А я пароля не помню.

– Вообще не помнишь?

– Ну, там было что-то связано с «Синим страхом». Я его как раз тогда посмотрела. Какое-то кодовое слово из записки.

– И?..

– Да не помню, говорю же! Не знаю, что делать. Не пересматривать же теперь весь фильм ради этого слова. Да и времени нет на это. Ты сам-то не знаешь?

– Не, извини, я такую хрень не смотрю.

Надя застыла, приоткрыв рот. Конечно, она знала «Синий страх» наизусть. И слово из записки, полученной Эдрианом на сорок третьей минуте фильма, прекрасно помнила. Это слово тут же собралось в Надиной голове из разноцветных звуков и зависло где-то на краю горла. Будто капля, которая все тяжелеет, набухает, но никак не может упасть.

За окном возникла неподвижная «скорая помощь», припаркованная у подъезда. И двое одетых в белые халаты людей с носилками. Надя не успела разглядеть лежавшего на носилках, но внутренне вздрогнула. Солнечное тепло куда-то делось, и резко подступивший мороз вытянул тысячи крошечных кусочков кожи. Вытянул и с силой перекрутил.

– Проснись, – вдруг сказала Надя.

Очень тихо, но сказала. И тут же опустила голову. Заметила, что к левому сапожку прилип багровый лист. Совсем осенний. Вспомнила, как прошлым летом однажды поехала с родителями за город, на дачу к какому-то папиному другу. У этого друга на участке росла малина, и ее листья зеленели густо и сочно. Время от времени раскрывали жаркому летнему ветру свою бледную изнанку. А потом этот друг умер от передозы, как сказал папа. Надя не знала, что такое передоза.

– Проснись, – повторила она чуть громче и подняла глаза. Мороз начал отступать.

Сидящие впереди парень и девушка повернулись к Наде и удивленно на нее посмотрели. У девушки на брови была сережка, а у парня – маленький шрам на щеке.

– Точняк, «проснись». Спасибо! – сказала девушка после трехсекундной паузы и тут же отвернулась. Полезла в свой телефон.

Надя медленно перевела взгляд на бабушку. Та смотрела застывшим, не моргающим взглядом. Рядом с багровым осенним листком на Надином сапожке лег исписанный лист формата А4, соскользнувший с бабушкиных колен. Бабушка не стала его поднимать.

И вот сейчас Надя сидит на кухне и в четырнадцатый раз за день повторяет свое первое слово. Теперь уже застывшим взглядом на нее смотрит мама, пришедшая в гости по такому невероятному поводу. Пришедшая в гости в первый раз после Надиного переезда.

– Вот видишь! – говорит бабушка. – Я тебе обещала, что человека из нее сделаю? Не прошло и месяца, а она у меня заговорила!

– Как тебе это удалось? – шепчет мама.

– А вот так! Внимание надо ребенку уделять.

– Да я и уделяла...

– Да как же, уделяла она. В телефон пялилась без конца и вино пила с этой своей шалавой. А я с Надюшей занималась – и вот результат! У нее сейчас язык совсем развяжется, так она еще и в школу пойдет, как все дети, и болтать будет без умолку!

Стоящий на пороге кухни дядя Олег закатывает глаза и страдальчески сводит брови:

– Только меня пусть не смеет доставать болтовней! У меня вообще-то работа, если вы забыли.

## На краю праздника

Надя не собиралась никого доставать.

Слова и правда вышли из горла в большом количестве. Сначала выходили медленно, друг за другом, а потом хлынули потоком. Вырвались наружу из заточения, разбили своим напором плотную немоту.

Но Надя обращала их в основном к себе самой. Ходила в одиночестве по комнате, садилась на подоконник, ложилась на пол – и говорила вполголоса. Вспоминала титры и реплики из сериалов, правила викторин. Только теперь все знакомые слова оказывались вовне, разлетались за пределами Надиного тела. Периодически Надя вздрагивала, осознавая, что звуки, которые она слышит, исходят от нее. Завернуты в оболочку ее голоса.

Впрочем, иногда Надя разговаривала и с другими людьми – в основном с бабушкой. Но только когда та обращалась к ней сама.

– Надюш, подай мне ту синюю тетрадку, что на мусорном ведре лежит. Этого оболтуса Назарова еще надо проверить, – просит бабушка и прижимает руку к сердцу. – Представляю, что он там понаписал. Сведут они меня в могилу, и кто за вами с Олежкой будет присматривать?

Надя берет тетрадку и внимательно смотрит на обложку. Корявые размашистые буквы выстраиваются в голове и обрастают цветом. Наливаются каждая своей краской. «О» – белая, с темно-зеленой каемкой. «Р» – песочно-желтая. «Л» – ярко-голубая, как летнее небо, разлитое ровно, без прожилок. Еще одна «О», чуть поменьше, и каемка бледнее. «В» – сочно-коричневая, почти янтарная, как яблочное варенье. А если смотреть в целом, то цвет первой буквы главнее всех и чуть смазывает своей белизной цвета остальных.

– Здесь не Назаров, а Орлов, – говорит Надя и кладет тетрадь на стол.

Не отнимая руки от сердца, бабушка резко поднимает голову:

– Так ты читать умеешь?

Конечно, умеет. Надя выучила буквы уже давно. Но не по книжкам, что ей настойчиво совали – сначала мама, потом бабушка. Выучила сама, разглядывая цветные слова из викторины, которая вечером шла по телевизору пестрым журчащим фоном, пока родители ругались или смотрели каждый в свой телефон. Надя скользила взглядом по экрану, по ярким квадратикам с буквами, и слушала закадровый голос. Буквы сходились воедино со звуками и постепенно вращались в сознание. Сначала были накрепко связаны с первичными, викторинными цветами. Но потом стали наполняться другими образами. «М» – золотистая, как мамины волосы. «Л» – лето, синее летнее небо, синяя лейка, которая с мая по август стояла на цветастом подоконнике из дома напротив. «Р» – песочная теплая Ривьера с рекламного плаката недалеко от поликлиники. «Х» – нечто фиолетовое, трупное, потому что именно такими были круги под глазами умирающего Харви из сериала «На краю сна».

А через два дня Надя признаётся, что умеет еще и считать.

Это получается нечаянно. Бабушка опять отняла коробки с пуговицами. Убрала на полку. А Надя на этот раз решила не сдаваться: незаметно подтянула к шкафу трехступенчатую стремянку. Стремянка была тяжелой, но Надя справилась. Пока тащила ее по коридору, неотрывно смотрела на верхнюю ступеньку, где было три ржавых пятна. Наде все казалось, что эти пятна – силуэты вышедших из подъезда в зимний вечер людей. Семьи. Родители сторбились от мокрого холодного ветра и разошлись в разные стороны, к краям, а маленькое пятно посередине – это их ребенок, оставшийся у дверей. Не знающий, куда идти.

Надя сумела достать заветные коробки. Но внутри одной из них произошли изменения.

– Здесь было семнадцать маленьких круглых пуговиц. А теперь шестнадцать, – говорит она, дрожащими руками протягивая бабушке открытую коробку.

Недостающая маленькая круглая пуговица нужна позарез. Срочно нужна. Надя уже чувствует где-то в груди пульсирующий жар восходящих слез.

Бабушка растерянно смотрит в коробку несколько секунд.

– Так я ее... дяде Олегу на рубашку пришила. У него оторвалась. Да не расстраивайся ты так, я тебе другую дам... Погоди-ка, а ты что? Уже и считать научилась? Вот молодчина! Я так и знала: со мной ты не пропадешь.

Другую маленькую круглую пуговицу Наде так и не дали. Но это еще не самое страшное. Несколько месяцев спустя умеющую читать и считать Надю записали в школу. В самую обычную школу, для обычных детей. В ту самую, в которой работала бабушка.

В апреле Надю отвели на «собеседование». Бабушка крепко держала за руку и всю дорогу повторяла: «Антонине Илларионовне нужно улыбаться», «хлопать себя по щекам в ее присутствии нельзя». Надя молча тащила на полшага позади. Чувствовала, как ужас все больше вмерзает в мысли, все дальше утягивает за собой в ледяную скважину. Медленно сжималась в комок.

– И не напрягайся так, – добавила бабушка. – Веди себя естественно. Я сказала, что ты умненькая милая девочка. Не подведи меня.

Утро было свежим, весенним, звенящим птицами и трамваями. По голубизне неба растекались молочные пятна облаков. Бомж из соседнего двора считал монеты рядом с подвальным универмагом. Надя смотрела вокруг, и ей казалось, что она видит все это в последний раз. Что вот-вот у нее все это отнимут. Еще чуть-чуть, и на нее обрушится удар черноты. Возникнет черная воронка и с бульканьем заглочит ее и все происходящее с ней. Как в сериале «На краю сна».

А еще Наде было неприятно, что бабушка держит ее за руку. Мама хватала ее ладонь только в редких случаях – когда Надю нужно было срочно куда-то потянуть. А бабушка поступала так часто. И это ужасно: ведь ладони потеют, и пот двух людей смешивается.

Школьные стены снаружи и изнутри оказались угрюмыми, цвета венозной крови. У Нади однажды брали кровь из вены для каких-то анализов. В поликлиническом кабинете стоял белый шкафчик с пробирками, а рядом – этажерка с уродливыми пластмассовыми игрушками. Пахло лекарствами, хлоркой и тревогой. В школе запаха лекарств не было, но хлорка и тревога ощущались даже сильнее.

Кабинет директрисы – Антонины Илларионовны – оказался на третьем этаже. Когда Надя с бабушкой зашли, она криво улыбнулась и вытянула вперед ладонь с желтоватыми ногтями.

– Ну наконец-то, а мы уж вас заждались! – сказала директриса писклявым занозливым голосом.

– Извините, Антонина Илларионовна, просто Надюша что-то сегодня вдруг занервничала, долго упрямилась, – ответила бабушка.

И после паузы добавила:

– Но вообще она в школу очень хочет.

Антонина Илларионовна была дамой неопределенного возраста. Тучной, желеобразной, похожей на холодец. С мышино-серыми глазами и такого же цвета волосами, гладко зализанными на пробор. Рядом с ней сидела осанистая девушка в кремовой блузке. У девушки были круглые глаза навывкате, словно совсем без век, и плотно сомкнутые тонкие губы.

– Это хорошо, это замечательно! – проверещала директриса.

Надя с бабушкой сели на черную жесткую кушетку. Вокруг было очень много предметов, совсем разных предметов, и они наплывали пестрой массой изо всех углов. Золотые кубки,

книги, дипломы, календари с изображением Кремля, тяжело дышащий компьютер, стеклянные фигурки ежиков, лисиц и грибов. Настольная лампа с кисло-зеленым светом, горшки с кактусами, золотой керамический кот, машущий лапой. В первые минуты Надя не прислушивалась к разговору. Смотрела на вещи, сбитые в случайную кучу, нелепые, неприкаянные. Через эту неприкаянность чувствовала с ними родство.

– Но все же... если она такая... особенная... не знаю, как это отразится на ее взаимоотношениях с классом.

Бабушка выпрямилась и сложила руки на коленях. А потом ответила – отрывисто, резко. Говорила так, будто рубила кухонным топориком мясо:

– Я вам на это вот что скажу, Антонина Илларионовна. Особенности тоже бывают разными. Моя Надюша спокойненькая. И очень умная. Проблем с ней не будет. Я вам это обещаю.

– Ну а помните, вы про детский сад тогда рассказывали.

– Там другое совсем. Себе она может больно сделать. Но другим – никогда. Она ни на кого не нападает. Уж что-что, а агрессивность – это не про нее. К тому же с тех пор как я забрала ее у мамани...

Надя снова выпала из разговора. Будто стала погружаться в воду. Голоса директрисы и бабушки скрылись от нее за нарастающей водной толщей. За теплой тьмой застоявшейся тишины. Фразы плавали по кабинету – далекие, бессмысленные – и оседали где-то на стенах, рядом с дипломами и грамотами. Словно пузырьки воздуха на стенках аквариума.

– Ну а ты что, солнышко, нам на это скажешь? – вдруг раскупорился занозливый голос директрисы. – Может, что-нибудь про себя поведаешь?

Надя вздрогнула. Взгляды директрисы и сидящей рядом девушки были устремлены на нее.

– Конечно, поведаст. Она очень умненькая девочка, – сказала бабушка и с тревогой посмотрела на Надю.

Но Надя ничего не поведала. Она все еще сидела под толстой ледяной коркой ужаса. Звуки не выходили.

Антонина Илларионовна усмехнулась:

– Ну скажи, солнышко, как тебя зовут? Хочешь ли ты учиться? Что же ты, ни слова нам не подаришь?

Накануне они с бабушкой готовили какую-то речь. Вроде рассказа о себе. И дома Надя неплохо с этим рассказом справилась. Но теперь все слова застряли в горле маленькими и острыми рыбьими косточками – ни сглотнуть, ни выплюнуть.

– Нет? Не хочешь с нами говорить?

Бабушка вздохнула и принялась долго и яростно качать головой. А директриса повернулась к сидящей рядом девушке:

– Ну и что вы об этом думаете?

– Я думаю, что всем надо дать хотя бы один шанс на полноценную жизнь, – торжественно заявила она. И вновь пожала свои тонкие губы.

– Я тоже так думаю. – Директриса вновь обернулась к бабушке: – Но девочка ваша, конечно, очень непростая. Поймите, я беру ее исключительно ради вас, Софья Борисовна. Из уважения к вашему многолетнему труду.

Надя очень переживала все лето, предчувствуя новые перемены – куда более серьезные, чем в прошлый раз. Практически все три месяца проболела. Молча лежала в постели и смотрела в окно – на жаркое густо-синее небо, залитое лучами. Солнце стекало приторным горячим соком, словно перележавший махровый персик. Порой Наде казалось, что ее постель медленно скользит туда, в вышину раскаленного сочащегося небосвода.

Иногда Надя просила бабушку принести ей в комнату радио. Настроить на нужную волну – без передач про воспаление селезенки и артроз тазобедренного сустава. Закрыв глаза, Надя ждала первых аккордов Чайковского, Рахманинова, Шуберта, Листа, Грига. Беззвучно вздыхала, придавленная жаром лета и жаром собственного больного тела. А после – постепенно уединялась в глубине себя, окружала себя высокими прохладными стенами музыки. Надя пряталась в музыке, чтобы весь прочий мир не задевал ни глаз, ни ушей. Чтобы плескался на солнце где-то очень далеко, за пределами мягкой полутьмы нот. Надя не открывала глаз до тех пор, пока голос диктора не прорывался в ее уединение. Или пока радиопомехи не начинали скворчать, как масло на сковороде, вытягивая Надю наружу, в болезненное летнее пекло.

Осенью началась новая жизнь. И эта жизнь поначалу была невыносимой. Школа оказалась огромным несмолкаемым человечником. Гораздо более шумным и многолюдным, чем детский сад. Повсюду кричали, толкались, двигали стулья. В столовой с грохотом кидали грязные ножи и вилки. Кидали на поднос, а Наде казалось, будто кидают в нее. Будто зубцы и лезвия с разлета впиваются в живое. И никуда нельзя было деться, не находилось ни единого убежища.

В первые месяцы на переменах Надя ходила туда и обратно по коридору, прикусив губу, и отчаянно хлестала себя по щекам. В голове больше не было ни титров, ни реплик – все куда-то провалилось, исчезло. Только кипящими волнами плескалась паника. К счастью, никогда не выплескивалась наружу. Разбивалась всякий раз о крепкие скалы оцепенения. Надя настолько уставала от людей, что даже привычные домашние атрибуты – дядя Олег с бабушкой – казались ей нестерпимо тяжелым грузом. И по вечерам Надя нередко убегала на лестницу. Сидела на ступеньках, уставившись на квартирную дверь «богача» с третьего этажа. Этот «богач» красиво отремонтировал свою лестничную площадку. Выложил бежевой керамической плиткой пол и стены, побелил потолок над дверью, повесил новый плафон. Еще и расставил горшки с бегониями. Жаль только, что вверх и вниз от этого островка красоты убегала все та же обшарпанная лестница с разбитыми окнами и оголенными спутанными проводами. Насмотревшись на лестничную клетку «богача», Надя брала с подоконника второго этажа банку из-под кофе, всегда наполненную на треть желтоватой водой, и перегоняла от края к краю мертвые окурки. Прокручивала в голове Первый концерт Чайковского. И немного успокаивалась.

Уроки вела Ольга Аркадьевна – очень полная женщина, еще полнее, чем директриса. У нее были седые волосы, перевязанные черным бантом, зеленые бусы до живота и мучительно тяжелое дыхание. В кабинет директрисы она поднималась в несколько этапов, с остановками, и подъем занимал всю перемену. Надя думала, что она выбрала начальные классы специально, чтобы работать на первом этаже.

Школьный материал Надя осваивала в целом неплохо – так говорила бабушка. Довольно быстро научилась писать. Правда, буквы выходили кривыми и разнородными: то вытянутыми, то сжатыми, как сама Надя. Но это было не так и важно: главное, не наделать ошибок. Письменные задания Надя выполняла исправно. А вот отвечать устно при всем классе не могла. Даже если накануне тщательно готовилась. Стояла у доски, чувствуя горячие короткие толчки где-то около солнечного сплетения. А голос вжимался в горло – такое уютное, родное – и там прирастал. Надя снова становилась немой. Да и нужный ответ выпадал из головы. В памяти без конца взбалтывались и оседали никак не вычленимые слова.

– Что ж ты, Завьялова, бабушку позоришь? Садись на место, – металлическим голосом говорила Ольга Аркадьевна.

И Надя шла, опустив голову, к своей последней парте. Проглатывала мутный горьковатый осадок неиспользованных слов.

Была еще одна проблема: Надя не могла долго концентрироваться. В начале урока старательно слушала. К середине начинала все чаще поглядывать в окно, на густую листву – то

мокрую, мелко дрожащую, то неподвижно и мягко зеленеющую. Либо на голые костлявые руки кустарников, тянущиеся к ледяному свинцовому небу. Стелется ветер, и руки взмахивают, словно в приступе судороги. Иногда в эти кустарники приходил помочиться районный алкоголик Семен.

А к концу урока Надя порой и вовсе не могла слышать голос Ольги Аркадьевны. С Надей случалась информативная перегрузка. Хотелось завуть, зажать уши руками, закрыть глаза. А Ольга Аркадьевна все говорила и говорила. Это было похоже на сломанную ленту на кассе в супермаркете. Однажды Надя с мамой пришли в магазин, выбрали товары и стали класть их на ленту. Стиральный порошок уже доплыл до кассы, а лента сломалась, никак не могла остановиться, и кассирша в первые секунды ничего не заметила. И товары все плыли и плыли друг за другом, все нагромождались возле кассового аппарата. До тех пор, пока не посыпались на пол.

А иногда Наде становилось просто скучно. Безо всякой перегрузки. И во время урока она вставала с места, подходила к шкафу с застекленными дверцами, доставала из него какую-нибудь книгу. И садилась с этой книгой на пол, в уголке класса.

– Завьялова, ты что себе позволяешь? Ну-ка вернись за парту! Ты сейчас к директору отправишься! Завьялова! Ты слышишь меня или нет? Я тебя сейчас за ухо возьму и усажу обратно, – кричала Ольга Аркадьевна до тех пор, пока не начинала задыхаться.

Дело всегда ограничивалось угрозами. Дойти до противоположного конца класса и усадить Надю на место у нее просто не было сил.

Постепенно прекратились и угрозы. С каждым месяцем Ольга Аркадьевна обращала внимание на Надю все реже. Все реже вызывала ее к доске. Все реже называла ее фамилию. И в конце концов Надя была почти совсем забыта. Она могла теперь делать что угодно за своей последней партой, без соседа. Все сидели по двое, только Надя одна. Вдали от всех, на периферии урока. Иногда ей казалось, что она – нетронутый песок побережья, до которого никогда не доходит морская волна. И Надя поднималась в воздух с каждым порывом ветра и рассыпалась в углу за шкафом – легкая, зыбкая, сухая. И ненужная.

Еще были уроки физкультуры. Был физрук – невысокий коренастый мужчина с поредевшими волосами. Он тщательно зализывал их назад, упорно пытаясь скрыть растущую лысину. На физкультуре Надя в основном стояла на месте, дрожала от холода и, плотно прижав руки к телу, уворачивалась от мяча. Физрук сначала громко рычал на Надю, называл заморышем. Но со временем, как и Ольга Аркадьевна, словно перестал ее замечать. Мяч больше не летел в Надину сторону. И даже когда все вокруг отжимались, а Надя сидела на скамейке, до крови раскусывая губу, это не вызывало со стороны физрука никаких комментариев. Так и проходил урок за уроком: Надя сидела в неподвижном одиночестве, пряталась в себе от оглушительного шума резвящихся детей. Шума, в котором слепо и упорно стучала бусина пульса. Урок физкультуры поднимал со дна тела и тщательно взбалтывал горячую юную кровь. А Надина кровь не хотела взбалтываться. Она застыла и прилипла к сосудам.

Одноклассники тоже не обращали на нее внимания. Еще перед школой бабушка переживала, что «Надюшу будут обижать». Однажды Надя услышала, как бабушка говорила кому-то по телефону:

– Ты же знаешь, эти дети такие подчас жестокие. А Надюша у нас особенная... Как бы не вышло чего плохого. А то мало ли, обидят, а она ведь не расскажет.

Но Надю никто не обижал. Ее вообще словно не видели.

Одноклассники смеялись, играли в непонятные игры. Дразнили и обзывали друг друга. Нади не было среди них. Иногда, проходя мимо какой-нибудь компании, она пыталась вслушаться в разговоры. Но не понимала, о чем речь. Темы бесед неудержимо ускользали куда-то в сторону, будто плавающие перед глазами мушки и паутинки. Уловить ничего не получалось.

Как-то раз Надя остановилась рядом с двумя девочками из первого «В». Хотела узнать, что такое интересное они разглядывают в телефоне. Надя подошла к ним со спины. Подошла так близко, что своим дыханием всколыхнула темно-русую прядь волос одной из них. Девочки повернули в сторону Нади гибкие тонкие шеи, переглянулись и молча отошли на несколько метров. Просто отошли. А что было на экране телефона – Надя так и не узнала.

В первый раз кто-то из школьников обратился к Наде лишь спустя три месяца после начала занятий. Надя гуляла, как обычно, по коридору, погруженная в собственное тело. И вдруг ее с силой толкнули в плечо.

– Эй, куда ты прешь? Не видишь, что ли?

Надя оглянулась и поняла, что находится уже не в коридоре, а в актовом зале, в самой гуще игровой эстафеты для второклассников. Надино тело только что возникло на чем-то пути, помешало кому-то пробежать.

Надя вздрогнула и отошла в сторону. Эстафета продолжилась как ни в чем не бывало. Надя поколебала ее течение всего на несколько секунд. И вот уже неожиданное препятствие устранено и забыто, дети снова бегут, энергия кипит, переливается через край.

– Я не видела... Извините... – прошептала Надя.

Но теперь уже не видели ее. И, разумеется, не слышали: зал тонул в радостном сочном шуме здоровой жизни. Надя постояла в растерянности несколько секунд и вышла в коридор. За ней сквозняком захлопнуло дверь, отрезав звуки зала. Окончательно отделив Надю от красочного и непоколебимого праздника. И Надя отправилась дальше – бродить по первому этажу, натываясь на стены и двери. Словно слепой опавший лист, бьющийся на ветру о тротуарный поребрик.

С этого дня ужас от многолюдности школы стал постепенно сменяться новым и очень странным ощущением. Поначалу маленьким, склизким и вертлявым. Затем все более очевидным и оттого пугающим. Ощущением собственной незримости. Пустоты.

После уроков Надя всегда ждала бабушку. Бабушка учила русскому и литературе старшеклассников на четвертом этаже. Часто оставалась заниматься с двоечниками до самого вечера. Надя ждала ее сначала на продленке, а после продленки – в коридоре первого этажа на подоконнике. Прислонялась затылком к холодному стеклу, болтала ногами. И вокруг никого не было, давно не было, только уборщица тетя Таня иногда приходила мыть пол. Медленно вела голубым прямоугольником махровой ткани по истоптанному линолеуму. Оставляла после себя длинный и очень ровный влажный путь. На Надю никогда не смотрела. А потом тетя Таня исчезала за поворотом, и коридор проваливался в холодную неподвижную тишину. Только острые и мучительно долгие звонки периодически эту тишину прорезали. А потом она делалась еще плотнее.

И Надя сидела на подоконнике в одиночестве, над вымытым полом, и уже не знала, есть ли она вообще.

## Кровавая Элиза

Надя почувствовала, что она есть, только в третьем классе, зимой.

Учительница музыки Юлия Валентиновна давала в школе частные уроки игры на пианино. Бывало, что во время этих уроков Надя проходила мимо класса музыки. Слышала сквозь приоткрытую дверь шершавую, рубленую игру. Ученики играли либо плохо, либо очень плохо. Но один мальчик играл просто отвратительно. Бетховеновская Элиза под его пальцами расклеивалась, расплзалась по швам, издавая предсмертные стоны. Юлия Валентиновна останавливала игру и вздыхала. Что-то бубнила вполголоса. А затем игра возобновлялась – рваная, ухабистая, угловатая. С неожиданными бугорками акцентов, возникающих совсем не к месту. С резкими и глубокими рытвинами переходов. Бетховена трясло, мотало из стороны в сторону, как в старом «уазике». Надя однажды тоже ездила в «уазике». Это был «уазик» папиного знакомого – того самого, который потом умер от передозы. Надя подпрыгивала на кочках, на вздутых сосновых корнях, проваливалась в ямы. Ударялась головой о стекло. Молчала, закусив губу.

– Хорошая у тебя девчонка, – говорил папин друг. – Сидит себе тихонько, не хныкает, не жалуется. Вот бы все бабы такими были.

На самом деле Наде тогда стало плохо. Плохо ей стало и теперь – при звуках трясущегося и вконец укачанного Бетховена. Она закрыла глаза и почувствовала, что вот-вот раскаленное сверло боли вкрутится ей в ухо. Пройдет до самого мозга. И Надя поскорее убежала подальше от класса музыки, от громоздких ухабистых нот, от вздыхающей Юлии Валентиновны.

Но убежать не получилось. Всю последующую неделю изуродованная багатель жила в Надиной голове. Жалила, кричала, разрывала голову изнутри. Раздувалась в ушах волдырями, не давала спокойно уснуть. Ее несмолкающие звуки постоянно вытаскивали Надю из назревающей полудремы в реальность, мешали полностью провалиться в сон. Надя ворочалась до утра, словно балансируя между полусном и комнатой. Между полусном и стареньким пианино из класса музыки. Между комнатой и неловкими пальцами ученика Юлии Валентиновны. Между его пальцами.

В конце концов Надя поняла, что нужно во что бы то ни стало вытеснить из своей головы чудовищное брнчанье. Заменить его успокаивающе плавной линией звуков. Услышать те же ноты, но выстроенные в гармонии. Чтобы в ощущениях осталось именно пластичное, тонкое, ровное исполнение. Увы, по радио «К Элизе» все эти дни не передавали. И Надя решила взять дело в свои руки. В свои пальцы.

И вот она заходит в пустующий класс музыки. Чувствует, как из глубины тела наплывает тревожный зной. Да и жар от батарей наваливается снаружи всей своей тяжестью, усугубляя недомогание. Но нужно действовать. Бабушка освободится только через полчаса – еще много времени. Надя подходит к пианино, садится на обшарпанную деревянную табуретку, из которой торчат шляпки гвоздей. Прямо как изюм из печенья «Счастливый день». Надя кладет пальцы на клавиши. И эти самые пальцы – обычно заостренные, сжатые в кулачки – медленно расправляются и оживают. Надя начинает играть осторожно, словно идет на ощупь по темному загадочному коридору. Но очень скоро становится ясно, что коридор не такой уж и загадочный. Вот же они – привычные предметы. Подсказывают путь, успокаивают, запросто угадываясь в темноте. Вот книжный шкаф, трехступенчатая стремянка, низкая покосившаяся тумба. На тумбе три коробки отзываются легким металлическим холодком. В коробках – драгоценные россыпи пуговиц. Здесь, в углу, притаился пылесос. А здесь на стене висит овальное зеркало в лепной раме, и надо повернуть направо. Надя идет все увереннее, все ровнее. В

какой-то момент осознает, что ей больше вообще не нужны осязательные ориентиры, потому что в коридоре зажегся свет и все стало видно, все понятно. Она слышит собственные твердые шаги, слышит звуки, которые мастерит сама. И эти звуки выталкивают из головы кошмарные дребезги всей последней недели.

Надя идет. Надя существует. Иначе бы никаких звуков не было.

Когда она доходит до конца коридора, ей уже совсем спокойно и легко на душе. Надя вслушивается несколько секунд в возникшую тишину. Скользит взглядом по зеленоватым шторам. И тишина вокруг тоже зеленоватая, прохладная, густая, словно только что вынутый из холодильника шавелевый кисель.

Но тут Надя поворачивает голову и видит, что за ее спиной стоит Юлия Валентиновна. У Юлии Валентиновны черные усики над ярко накрашенными морковными губами. И сейчас этот морковный рот с усиками приоткрыт.

– Завьялова, а ты...

Юлия Валентиновна не заканчивает фразу. Надя снова свертывается, чувствует, как напрягаются плечи, как заостряются под полосатым джемпером лопатки. На секунду вспоминает, что бабушка обещала сегодня этот джемпер постирать.

– Извините, я просто...

Надя тоже не заканчивает фразу. Где-то за грудной клеткой, чуть выше живота, журчит, плещется волнами и закручивается в тугую воронку страх. Сейчас Надю точно будут ругать, ведь она зашла в класс музыки без разрешения. Без разрешения села за пианино. И Юлия Валентиновна наверняка все расскажет бабушке. Потому что Надя позорит бабушку.

– Завьялова, так ты что, в музыкальную школу ходишь?

– Нет. Извините. Я не хожу, я просто...

От виска через шею и ключицу бойко бежит крупная жгучая капля. Надя проводит по коже рукой – вновь одеревеневшей. Смотрит на пальцы, почему-то ожидая увидеть густую темно-вишневую кровь. Но нет, это всего лишь испарина, обжигающе ледяной пот.

– Вот так новость! И бабушка твоя ничего мне не говорила.

– Бабушка не знает...

– Как это не знает? Что она не знает? Завьялова, тебя кто так играть научил?

– Меня никто не учил... Я первый раз. Извините, пожалуйста.

Юлия Валентиновна замирает на несколько секунд, закусив нижнюю морковную губу.

– Так, Завьялова. Я сейчас позову твою бабушку. И директора. Это нельзя так оставлять.

Надя вздрагивает. Новая капля скользит тем же путем. Гораздо более жгучая, чем первая. Надя уверена, что она оставляет за собой алый след на коже.

– Не надо директора, пожалуйста. И бабушку не надо. Я случайно. Я... больше не буду так делать. Правда.

– Завьялова, да тебя надо на апрельский конкурс в Омск отправить. Так, сегодня двадцать первое... Еще успеем подать заявку. Сиди здесь, сейчас вернусь. И сыграешь еще раз: для директора и бабушки.

– Не надо, не надо, пожалуйста!

Надя вскакивает и бежит прочь из класса музыки. Капли скатываются одна за другой. В последний момент как будто срываются внутрь, летят в темноту Надиного тела, ударяются о сердечное дно. И разлетаются за ребрами жгучими ледяными брызгами.

– Завьялова, ну-ка остановись! – кричит вслед Юлия Валентиновна.

Надя бежит что есть духу. Собирает в беге всю силу своего тщедушного тела. Ей больно вдыхать навалившийся острый воздух – легкие не привыкли к таким забегам. Но ничего, надо потерпеть. Страх перед необходимостью играть для зрителей посерьезнее, чем перед выговором от Юлии Валентиновны. Он трепыхается, отчаянно колотится внутри Нади.

Кажется, Юлия Валентиновна пытается бежать следом. Но все-таки Надя бежит чуть быстрее. Правда, у лестницы спотыкается о брошенный кем-то учебник по естествознанию. Прочерчивает коленями и выставленными вперед ладонями невидимый след по линолеуму. Надо встать, тут же подняться и бежать снова – нельзя терять ни секунды на вязкое, засасывающее осознание боли. Разодранные колени – это мелочь.

Надя забегает в гардероб и захлопывает за собой дверь. Голос Юлии Валентиновны еще какое-то время звучит вдалеке, а потом на Надю обрушивается тишина.

Почти все ученики уже ушли домой, и гардероб поднимается перед Надей опустевшим лесом вешалок. Но редкие стволы еще покрыты последней пестрой листвой. Надя пробирается в дальний угол и прячется за чьим-то розовым пуховиком. Лучше спрятаться – так надежнее. Страх уже не такой живой, как минуту назад. Уже не мечется, не бьет крыльями в запертой грудной клетке. Но все еще остается внутри – бездыханным телом. Медленно перекачивается, скользит от края к краю. Словно мертвый мотылек, плавающий в старой чайной заварке.

Надя долго сидит за пуховиком в лимонном обезжиренном свете гардероба. Над ней целое созвездие плафонов лимонного цвета. Она смотрит в крошечное гардеробное окошко, на темнеющую январскую улицу. Вспоминает лето, мотыльков-самоубийц, которые бросались на машины. Или топились в чае – такое тоже не раз бывало. Надя думает о мотыльках, о бархатистых теплых вечерах. Почти успокаивается.

Но вдруг где-то совсем рядом слышится топот, раздаются знакомые голоса. И мертвый мотылек страха внутри Нади оживает.

– Я вас уверяю, Софья Борисовна, ваша внучка – гений. Я такого никогда не слышала, за все свои тридцать лет работы. А уж учеников у меня было море. Мо-ре.

Дверь гардероба скрипуче отворяется, и на пороге оказываются Юлия Валентиновна, бабушка и директриса. Непонятно, как они догадались, что Надя прячется именно здесь.

– Надюш, вылезай оттуда, иди к нам, – говорит бабушка.

Надя отчаянно мотает головой. Дышит на желтоватый капюшонный пух, шевелит его своим дыханием, словно ветер осеннюю траву. От капюшона пахнет густым ландышевым парфюмом. Совсем не по-осеннему.

– Солнышко, Юлия Валентиновна нам сказала, что ты прекрасно играешь Бетховена, – тычется в Надю, въедаясь занозами, голос директрисы. – Сыграй, пожалуйста, еще раз для нас. Можешь?

– Не могу, – чуть слышно шепчет Надя, – Не могу.

– Ну почему, солнышко? Если у тебя есть талант, его надо использовать!

– Конечно, надо! Да ее на конкурс надо срочно регистрировать, пока не поздно. На «Юное звучание весны». А то кого мне туда отправлять? Эту Савицкую, что ли? Или Фомичева криворукого?

– Надюш, не упрячься. Слышишь, тебя на конкурс хотят отправить!

– Солнышко, конкурс – это очень важно. От конкурсов зависят престиж и честь нашей школы.

– Нет. Нет, – повторяет Надя почти беззвучно, одними губами.

– Ну как это – «нет»? Тебе что – не важна честь школы?

Надя зарывается лицом в засаленный рукав пуховика, и честь школы кисло вздрагивает в пищеводе.

– Давай, Надюш. Хватит. Пошли.

Надя зажмуривается. Чувствует, как чьи-то пальцы хватают ее за руку. За потный локтевой сгиб. Надю вытягивают из ее укрытия, тащат обратно в класс музыки.

Сопrotивляться бесполезно, и она машинально переставляет закаменелые ноги. Ее бросает то в жар, то в холод, и сквозь эти перепады температуры к ней постепенно возвращается

зудящая боль от разодранных коленок и ладошек. Надя замечает, что колготки на коленях порваны. Ловит себя на мысли, что бабушка ее из-за этого не ругает, хотя наверняка тоже обратила внимание. Еще Надя осознает, что сейчас ей вообще все равно, будут ли ее ругать из-за колготок.

Когда Надю усаживают за пианино, ей кажется, что со всех сторон собираются клочковатые сумерки. Затягивают ее в себя. Зеленоватые шторы на окне принимают зловещий болотный оттенок. Становится душно, мутно, словно на илистом дне озера. Само ощущение происходящего как будто замутнено илом. И вот-вот наплывут хищные зубастые рыбы и обглодают до косточек Надино мертвое тело.

– Давай, Надюш, порадуй нас. Что ты тут играла? Давай еще разок, а мы послушаем.

Надя кладет руки на клавиши. Поднимает глаза и видит устремленные на нее взгляды. Взгляды, полные ожидания. Полные надежды. Сердце снова возникает в груди, резко впрыгнув из пустоты. И в этот момент Надя отчетливо понимает: нет. Она не может, нет. Просто нет.

По горлу катится черный тяжелый шар. Выкатывается наружу яростным воем, который Надя будто слышит со стороны. И ее правая рука будто сама по себе начинает хлопать крышкой пианино по левой. Приподнимать черное лакированное дерево над неподвижно лежащими пальцами и резко отпускать. Нет. Нет. Нет. От ногтей мизинца и безымянного пальца отскакивают маленькие кровавые бусинки. Ровные, одинаковые, словно с одного ожерелья. В голове у Нади тоже словно рвется кровавое ожерелье, и алые бусины мыслей беспорядочно прыгают, разбегаются в стороны. Катятся по бетховеновской Элизе, оставляя на ней длинные и тонкие кровавые следы.

А потом Надя попадает в темноту, набухшую солью – от сочащейся крови и от слез Элизы.

## Спасти бабушку

Надя приходит в себя уже на кушетке медкабинета. Сверху льется холодный обезжиренный свет – такой же, как в гардеробе. Надя вспоминает свет своей комнаты – густой, наваристый, как свежеприготовленный куриный бульон, – и зябко ежится.

К Наде подсакивает медсестра, сует пластиковый стаканчик с чем-то травяным и терпким.

– Ну что, очнулась, красавица? На, пей. Пей.

За ее спиной тут же возникает бабушка.

– Надюш, да что же это такое? Ты чего сейчас устроила? Перепугала нас всех! Хорошо еще, что Анна Васильевна не ушла пока, а то уж тебя хотели сразу в больницу везти.

Надя глотает терпкое травяное зелье. Часть его тут же выливается изо рта, и медсестра вытирает Надин подбородок бумажным платочком. У платочка сладковатый персиковый аромат, а у медсестры резкие, порывистые движения.

– Что с тобой случилось? – продолжает бабушка. – Послушай, Надюш, ты ведь умная девочка, должна понимать, что так нельзя себя вести. Когда тебя брали в школу, я обещала Антонине Илларионовне, что проблем с тобой не будет. Что же ты меня подводишь?

Надя вдруг чувствует, как пальцы левой руки медленно наливаются болью. Приподнимает руку и видит белый бинт с бледно-розовой кляксой. А бабушка все не унимается, все говорит и говорит, сводит седые брови – то ли встревоженно, то ли укоризненно. Всплескивает руками и прижимает их к сердцу.

– Ты отвечать-то мне будешь? Что ты натворила? Довести меня решила, а, Надюш?

Боль в пальцах достигает пика. Боль нестерпима и бесконечна, она словно вытягивает фаланги до небывалой длины. Пальцы болят всей своей немислимой протяженностью. Надя уже даже не слышит бабушкиных слов. Все пространство сконцентрировалось в одной точке – в пульсирующей болью левой руке. А вокруг этой точки разрастается пустота.

Домой в тот раз Надя с бабушкой ехали на автобусе. Хотя обычно ходили пешком. Бабушка за всю дорогу не проронила ни слова. Видимо, все ее слова были выплеснуты в медкабинете. Она сидела, прижав руку к сердцу и наполовину отвернувшись от Нади. Ее взгляд казался замутненным, полностью обращенным вовнутрь. Будто то, что происходило у нее внутри, целиком впитало в себя живое сияние глаз. Надя хотела ей что-то сказать, но не знала, что именно. Все слова в голове до сих пор размазывались жирными красными пятнами. Наверное, мозг был в тот момент похож на кровяной суп-пюре.

И Надя тоже отвернулась и стала смотреть в окно. Здоровой рукой расчистила маленький кусочек запотевшего стекла. Большую убрала в карман. В медкабинете Наде дали таблетку, и боль уже не была столь мучительной.

За окном автобуса проезжали машины. Красными слезами фар стекали на дорогу. Тянулись многолюдные улицы – уже знакомые, родные. Улицы, до терпкого, чуть затхлого привкуса настоянные на всеобщем глухом молчании. Теперь это всеобщее молчание смешивалось еще и с молчанием бабушки. И Наде было от этого неуютно.

Бабушка снова заговорила только за ужином. Налила Наде фрикаделькового супа и уселась напротив.

– Надюш, мне нужно серьезно с тобой поговорить. Из-за твоего сегодняшнего поступка мне было очень стыдно. И плохо. Я твой родной человек, а с родными так не поступают. Я надеюсь, ты это понимаешь?

Надя кивнула, не поднимая глаз. Раздавила ложкой фрикадельку.

– У меня очень слабое сердце. Оно может внезапно остановиться. Просто взять и замереть. И меня не станет.

Надя вздрогнула. Известие о возможности бабушкиной смерти зависло в сознании, словно капля росы на паутине, и принялось дрожать, мерцать, бессмысленно переливаться.

– А умирать я не могу. Если я умру, кто за тобой присматривать будет? Не твоя же нервная маманя. Тоже мне. Сбагрила дочь и довольна. Звонит раз в месяц. Ну ладно, Бог ей судья. Я уж не говорю о твоём так называемом отце, который вообще, наверное, забыл, как ты выглядишь. Ты только мне одной нужна. А без меня ты пропадёшь. Ведь ты ничего не умеешь, Надюш, да и учиться не хочешь. Не смотришь вокруг, ни к чему любопытства не проявляешь. Не замечаешь ничего. Джемпер вот шиворот-навыворот надела. Потому что я утром не уследила, занята была контрольными этого десятого «А». А ты за целый день не обратила внимание, что швы наружу. Ну ты же девочка, должна за собой следить. Да ты ешь, ешь, а то остынет.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.